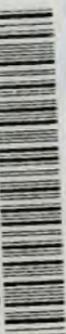


Э 1761 04621788 1



С. ПЕТРОВЪ

ПОЛНОЕ  
СОБРАНИЕ  
СОЧИНЕНІЙ

ИЗДАНИЕ А. П. МАРИЯ

С. ПЕТЕРБУРГЪ.







*Лесковъ (Л. С. Лѣсковъ)*  
" "  
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ

*Рисова портрета*  
СОЧИНЕНІЙ

*Л. С. Лѣсковъ*  
**Н. С. ЛѢСКОВА.**

*120. 3*  
ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Сементковскаго и съ приложеніемъ портрета Лѣскова, гравированнаго на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

*т. 17-21*  
ТОМЪ ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ.

*551826*  
*27.10.52*  
Приложеніе къ журналу „Низа“ изъ 1903 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.  
Изданіе А. Ф. МАРКСА.

1903.



Артистическое заведение А. Ф. МАРКСА, Намайд. пр., № 29.



# СТАРЫЙ ГЕНИЙ.

«Гений лѣтъ не имѣть—онъ преодолеваетъ все, что останавливаетъ обыкновенные умы».

*Тарошфуко.*

## ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Нѣсколько лѣтъ назадъ въ Петербургъ пріѣхала маленькая старушка-помѣщица, у которой было, по ея словамъ, «вопьющее дѣло». Дѣло это заключалось въ томъ, что она, по своей сердечной добротѣ и простотѣ, чисто изъ одного участія, выручила изъ бѣды одного великосвѣтскаго франта, заложивъ для него свой домикъ, составлявшій все достояніе старушки и ея недвижимой, увѣчной дочери да вянучки. Домъ былъ заложенъ въ пятнадцати тысячахъ, которыя франтъ полностью взялъ, съ обязательствомъ уплатить въ самый короткій срокъ.

Добрая старушка этому вѣрила, да и не мудрено было вѣрить, потому что должникъ принадлежалъ къ одной изъ лучшихъ фамилій, имѣлъ передъ собою блестящую карьеру и получалъ хорошіе доходы съ имѣній и хорошее жалованье по службѣ. Денежныя затрудненія, изъ которыхъ старушка его выручила, были послѣдствіемъ какого-то мимолетнаго увлеченія или неосторожности за картами въ дворянскомъ клубѣ, что поправить ему было, конечно, очень легко, — «лишь бы только доѣхать до Петербурга».

Старушка знавала когда-то мать этого господина и, во имя старой пріязни, помогла ему; онъ благополучно уѣхалъ въ Штеръ, а затѣмъ, разумеется, началась довольно обыкновенная въ подобныхъ случаяхъ игра въ конику и мылику. Приходятъ сроки, старушка напоминаетъ о себѣ

письмами, — сначала самыми мягкими, потомъ немножко пожестче, а наконецъ, и бранится, — намекаетъ, что «это не честно», но должникъ ея былъ звѣрь травленный и все равно ни на какія ея письма не отвѣчалъ. А между тѣмъ время уходитъ, приближается срокъ закладной — и передъ бѣдной женщиной, которая уповала дожить свой вѣкъ въ своемъ домишкѣ, вдругъ разверзается страшная перспектива холода и голода съ увѣчной дочерью и маленькою внучкою.

Старушка въ отчаяніи поручила свою больную и ребенка доброй соседкѣ, а сама собрала кое-какія крохи и полетѣла въ Петербургъ «хлопотать».

## ГЛАВА ВТОРАЯ.

Хлопоты ея вначалѣ были очень успѣшны: адвокатъ ей встрѣтился участливый и милостивый, и въ судѣ ей рѣшеніе вышло скорое и благоприятное, но какъ дошло дѣло до исполненія тутъ и пошла закорюка, да такая, что и ума къ ней приложить было невозможно. Не то, чтобы полиція или иные какіе пристава должнику мирволили — говорятъ, что тотъ имъ самимъ давно надоѣлъ, и что они всё старушку очень жалѣютъ и рады ей помочь, да *не смѣютъ*... Было у него какое-то такое могущественное родство, или свойство, что нельзя было его приструнить, какъ всякаго иного грѣшника.

О силѣ и значеніи этихъ связей достовѣрно не знаю, да думаю, что это и не важно. Все равно — какая бабушка ему ни ворожила и все на милость предложила.

Не умѣю тоже вамъ рассказать въ точности, что надъ нимъ надо было учинить, но знаю, что нужно было «вручить *должнику* съ роспискою» какую-то бумагу, и вотъ этого-то никто, никакія лица, никакого уряда — не могли сдѣлать. Къ кому старушка ни обратится, всё ей въ одномъ родѣ совѣтуютъ:

— Ахъ, сударыня, и охота же вамъ! Бросьте лучше! Намъ очень васъ жаль, да что дѣлать, когда онъ никому не платитъ... Утѣштесь тѣмъ, что не вы первая, не вы и послѣдняя.

— Батюшки мои, — отвѣчаетъ старушка: — да какое же мнѣ въ этомъ утѣшеніе, что не мнѣ одной худо будетъ? Я бы, голубчичи, гораздо лучше желала, чтобы и мнѣ, и всѣмъ другимъ хорошо было.

— Ну, отвѣчаютъ, — чтобъ всё-то хорошо — вы ужъ это оставьте, — это спеціалисты выдумали и это невозможно.

А та. въ простотѣ своей, пристаётъ:

— Почему же невозможно? У него состояніе во всякомъ случаѣ больше, чѣмъ онъ всё намъ долженъ, и пусть онъ должное отдастъ, а ему еще много останется.

— Э, сударыня, у кого «много», тѣмъ никогда много не бываетъ, а имъ всегда недостаточно, но главное дѣло въ томъ, что онъ платить не привыкъ, и если очень докучать станете — можетъ вамъ неприятность сдѣлать.

— Какую неприятность?

— Ну, что вамъ разспрашивать: гуляйте лучше тихонько по Невскому проспекту, а то вдругъ уѣдете.

— Ну, извините, — говоритъ старушка: — я вамъ не повѣрю: онъ замотался, но человѣкъ хорошій.

— Да, отвѣчаютъ, — конечно, онъ баринъ хорошій, но только дурной платить; а если кто этимъ занялся, тотъ и все дурное сдѣлаетъ.

— Ну, такъ тогда употребите мѣры.

— Да вотъ тутъ-то, отвѣчаютъ, — и точка съ запятою: мы не можемъ противъ всѣхъ «употреблять мѣры». Зачѣмъ съ такими знались.

— Какая же разница?

А вопрошаемые на нее только посмотреть да отвернуться. или даже предложить идти высшимъ жаловаться.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Ходила она и къ высшимъ. Тамъ и доступъ труднѣе, и разговоръ меньше. да и отвлеченнѣе.

Говорятъ: «да гдѣ онъ? о немъ доносятъ, что его нѣтъ!»

— Помилуйте, — плачетъ старушка: — да я его всякій день на улицѣ вижу, — онъ въ своемъ домѣ живетъ.

— Это вовсе и не его домъ. У него нѣтъ дома: это домъ его жены.

— Вѣдь это все равно: мужъ и жена — одна сатана.

— Да это вы такъ судите, но законъ судить иначе. Жена на него тоже счета предъявляла и жаловалась суду, и онъ у нея не значится... Онъ, чортъ его знаетъ, онъ всё намъ надоѣлъ. — и зачѣмъ вы ему деньги давали! Когда онъ въ Петербургѣ бываетъ — онъ прописывается гдѣ-то въ меблированныхъ комнатахъ, но тамъ не живетъ.

А если вы думаете, что мы его защищаемъ, или намъ его жалко, то вы очень ошибаетесь: ищите его, поймите, — это ваше дѣло.—тогда ему *«вручатъ»*.

Утѣшительнѣе этого старушка ни на какихъ высотахъ ничего не добила, и, по провинціальной подозрительности, стала шептать, будто все это «оттого, что сухая ложка ротъ деретъ».

— Что ты, говорить, — мнѣ ни увѣрйи, а я вижу, что все оно оттого же самаго движеть, что *«надо смазать»*.

Пошла она «мазать» и пришла еще болѣе огорченная. Говорить, что «прямо съ цѣлой тысячи начала», т. е. обѣщала тысячу рублей изъ взысканныхъ денегъ, но ее и слушать не хотѣли, а когда она, благоразумно прибавляя, насулила до трехъ тысячъ, то ее даже попросили выйти.

— Трехъ тысячъ не берутъ за то только, чтобы бумажку вручить! Вѣдь это что же такое?... Нѣтъ, прежде лучше было.

— Ну, тоже, напоминаю ей: — забыли вы, вѣрно, какъ тогда хорошо шло: кто больше далъ, тотъ и правъ былъ.

— Это, отвѣчаетъ,—твоя совершенная правда, но только между старинными чиновниками бывали отчаянные доки. Бывало его спросишь: «можно ли?»—а онъ отвѣчаетъ: «въ Россіи невозможности итъ», и вдругъ выдумку выдумаетъ и сдѣлаетъ. Вотъ мнѣ и теперь одинъ такой объявился и пристаесть ко мнѣ, да не знаю: вѣрить или итъ? Мы съ нимъ вмѣстѣ въ Маринскомъ пассажѣ у саченника Василья обѣдаемъ, потому что я вѣдь теперь экономлю и надъ каждымъ грошемъ тряусь,— горячаго уже давно не бѣмъ, все на дѣло берегу, а онъ, вѣрно, тоже по бѣдности или нищій... но преубѣдительно говорить: «дайте мнѣ пятьсотъ рублей—я *«вручу»*». Какъ ты объ этомъ думаешь?

Голубушка моя, отвѣчаю ей: — увѣрю васъ, что вы меня своимъ горемъ очень трогаете, но я и своихъ-то дѣлъ вести не умѣю и рѣшительно ничего не могу вамъ посоветовать. Разспросили бы вы, по крайней мѣрѣ, о немъ кого-нибудь: кто онъ такой и кто за него поручиться можетъ?

— Да ужъ я саченника разспрашивала, только онъ ничего не знаетъ. «Такъ, говорить, надо думать, или кунецъ притинишь торговлю, или подунаеишъ изъ какихъ-нибудь своихъ благородій».

— Ну, самого его прямо спросите.

— Спрашивала—кто онъ такой и какой на немъ чинъ? «Это, говоритъ, въ нашемъ обществѣ разсказывать совсѣмъ лишнее и не принято; называйте меня Иванъ Ивановичъ, а чинъ на мнѣ изъ четырнадцати овчинъ,—какую захочу, ту вверхъ шерстью и выворочу».

— Ну, вотъ видите. — это, выходитъ, совсѣмъ какая-то темная личность.

— Да, темная... «Чинъ изъ четырнадцати овчинъ»—это я понимаю, такъ какъ я сама за чиновникомъ была. Это значить, что онъ четырнадцатаго класса. А насчетъ имени и рекомендаціи прямо объявляетъ, что «насчетъ рекомендацій», говоритъ, «я ими пренебрегаю и у меня ихъ нѣтъ, а я гениальныя мысли въ своемъ лбу имѣю и знаю достойныхъ людей, которые всякій мой планъ готовы привести за триста рублей въ исполненіе».

— Почему же, батюшка, непременно *триста*?

— «А такъ,—ужь это у насъ такой прификсъ, съ котораго мы уступать не желаемъ и больше не беремъ».

— Ничего, сударь, не понимаю.

— «Да и не надо. Нынѣшніе вѣдь много тысячъ берутъ, а мы сотни. Мнѣ двѣсти за мысль и за руководство, да триста исполнительному герою, въ соразмѣрѣ, что онъ можетъ за исполненіе три мѣсяца въ тюрьмѣ сидѣть, и конецъ дѣло вѣнчаетъ. Кто хочетъ—пусть намъ вѣрится, потому что я всегда берусь за дѣла только за невозможныя; а кто вѣры не имѣетъ, съ тѣмъ дѣлать нечего»,—но что до меня касается,—прибавляетъ старушка,—то представь ты себѣ мое искушеніе: я ему почему-то вѣрю...

— Рѣшительно, говорю,—не знаю, отчего вы ему вѣрите?

— Вообрази—предчувствіе у меня, что ли, какое-то, и сны я вижу, и все это какъ-то такъ тепло убѣждаетъ до-вѣряться.

— Не подождать ли еще?

— Подожду, пока возможно.

Но скоро это сдѣлалось невозможно.

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Прѣзжаетъ ко мнѣ старушка въ состояніи самой трогательной и острой горести: во-первыхъ, настаетъ Рождество; во-вторыхъ, изъ дому пшнутъ, что домъ на сихъ же дняхъ

поступаетъ въ продажу; и въ-третьихъ, она встрѣтила своего должника подь-руку съ дамою и погналась за ними и даже схватила его за рукавъ, и взывала къ судѣнствію публички, крича со слезами: «Боже мой, онъ мнѣ долженъ!» Но это повело только къ тому, что ее отъ должника съ его дамою отвлекли, а привлекли къ отвѣтственности за нарушеніе тишины и порядка въ людномъ мѣстѣ. Ужаснѣе же этихъ трехъ обстоятельствъ было четвертое, которое заключалось въ томъ, что должникъ старушки добылъ себѣ заграничный отпускъ и не позже, какъ завтра, уѣзжаетъ съ роскошною дамою своего сердца за границу, — гдѣ навѣрно пробудетъ годъ или два, а можетъ быть и совсѣмъ не вернется, «потому что она очень богатая».

Сомнѣній, что все это именно такъ, какъ говорила старушка, не могло быть ни малѣйшихъ. Она научилась зорко слѣдить за каждымъ шагомъ своего неуволимаго должника и знала всѣ его тайности отъ подкушенныхъ его слугъ.

Завтра, стало быть, конецъ этой долгой и мучительной комедіи: завтра онъ несомнѣнно улизнетъ и надолго, а можетъ-быть и навсегда, потому что его компаньонка, все-конечно, не желала афинировать себя за мигъ или краткое мгновеніе.

Старушка все это во всѣхъ подробностяхъ повергла уже обсужденію дѣльца, имѣющаго чинъ изъ четырнадцати овчинъ, и тотъ тамъ же, сидя за почвами у саечника въ Маринскомъ пассажѣ, отвѣчалъ ей:

— «Да, дѣло кратко, но помочь еще можно: сейчасъ нятьсотъ рублей на столъ, и завтра же ваша душа на просторъ; а если не имѣете ко мнѣ вѣры — ваши пятнадцать тысячъ пропаны».

— Я, другъ мой, — рассказываетъ мнѣ старушка: — уже рѣшилась ему довѣриться... Что же дѣлать: все равно, вѣдь, никто не беретъ, а онъ беретъ и твердо говоритъ: «я вручу». Не гляди, пожалуйста, на меня такъ, глаза непытуютъ. Я шмало не сумасшедшая, а и сама ничего не понимаю, но только имѣю къ нему какое-то таинственное довѣріе въ моемъ предчувствіи, и сна такіе сплились, что я рѣшилась и увела его съ собою.

— Куда?

— Да видишь ли, мы у сасчника вѣдь только въ одну пору, все въ обѣдь встрѣчаемся. А тогда уже поздно будетъ,—такъ я его теперь при себѣ веду и не отпущу до завтраго. Въ мои годы, конечно, ужъ объ этомъ никто ничего дурного подуматъ не можетъ, а за нимъ надо смотрѣть, потому что я должна ему сейчасъ же всѣ пятьсотъ рублей отдать и безъ всякой росши.

— И вы рѣшаетесь?

— Конечно, рѣшаюсь.—Что же еще сдѣлать можно? Я ему уже сто рублей задатку дала и онъ теперь ждетъ меня въ трактирѣ, чай пьетъ, а я къ тебѣ съ просьбою: у меня еще двѣсти пятьдесятъ рублей есть, а полтораоста нѣтъ. Сдѣлай милость, ссуди меня,—я тебѣ возвращу. Пусть хоть домъ продадутъ,—все-таки тамъ полтораоста рублей еще останется.

Зналь я ее за женщину прекрасной честности, да и горе ея такое трогательное,—думаю: отдасть или не отдасть—Господь съ ней, отъ полтораоста рублей не разбогатѣешь и не обѣднѣешь, а между тѣмъ у нея мученія на душѣ не останется, что она не всѣ средства испробовала, чтобы «вручить» бумажку, которая могла спасти ея дѣло.

Взяла она просимыя деньги и поплыла въ трактиръ къ своему отчаянному дѣльцу. А я съ любопытствомъ дожидаль ее на слѣдующее утро, чтобы узнать: на какое еще новое штукарство изловчатся плутовать въ Петербургѣ?

Только то, о чемъ я узналъ, превзошло мои ожиданія: пассажный геній не постыдилъ ни вѣры, ни предчувствій доброй старушки.

## ГЛАВА ПЯТАЯ.

На третій день праздника, она влетаетъ ко мнѣ въ дорожномъ платьѣ и съ саквожемъ, и первое что дѣлаетъ,—кладетъ мнѣ на столъ занятыя у меня полтораоста рублей, а потомъ показываетъ банковую, переводную росшиску слишкомъ на пятнадцать тысячъ...

— Глазамъ своимъ не вѣрю! Что это значить?

— Ничего больше, какъ я получила всѣ свои деньги съ процентами.

— Какимъ образомъ? Неужто все это четырнадцати-овчинный Иванъ Ивановичъ устроилъ?

— Да, онъ. Впрочемъ, былъ еще и другой, которому онъ отъ себя триста рублей далъ, — потому что безъ помощи этого человека обойтись было невозможно.

— Это что же еще за дѣятель? Вы ужъ расскажите все, какъ они вамъ помогали!

— Помогли очень честно. Я какъ пришла въ трактиръ и отдала Ивану Ивановичу деньги — онъ сосчиталъ, принялъ и говоритъ: «теперь, госножа, поѣдемъ. Я, говоритъ, гений по мысли моеи, но мнѣ нуженъ исполнитель моего плана, потому что я самъ таинственный незнакомецъ и своимъ лицомъ юридическихъ дѣйствій производить не могу». Ыздили по многимъ низкимъ мѣстамъ и по банямъ — все искали какого-то «сербскаго сражателя», но долго его не могли найти. Наконецъ нашли. Вышелъ этотъ сражатель изъ какой-то ямки, въ сербскомъ военномъ костюмѣ, весь оборванный, а въ зубахъ шишочка изъ газетной бумаги и говоритъ: «я все могу, что кому нужно, но прежде всего надо вышить». Все мы трое въ трактиръ сидѣли и торговались, и сербскій сражатель требовалъ «по сту рублей на мѣсяць, за три мѣсяца». На этомъ рѣшили. Я еще ничего не понимала, но видѣла, что Иванъ Ивановичъ ему деньги отдалъ, стало-быть, онъ вѣритъ, и мнѣ полгоче стало. А потомъ я Ивана Ивановича къ себѣ взяла, чтобы въ моей квартирѣ находился, а сербскаго сражателя въ бани почевать отпустили съ тѣмъ, чтобы утромъ явился. Онъ утромъ пришелъ и говоритъ: я готовъ! А Иванъ Ивановичъ мнѣ шепчетъ: «Послите для него за водочкой: отъ него нужна смѣлость. Много я ему нить не дамъ, а немножко необходимо для храбрости: настаетъ самое главное его исполненіе».

Вышить сербскій сражатель, и они поѣхали на станцію желѣзной дороги, съ поѣздомъ которой старушкинъ должникъ и его дама должны были уѣхать. Старушка все еще ничего не понимала, что такое они замыслили и какъ исполнять, но сражатель ее успокоивалъ и говорилъ, что «все будетъ честно и благородно». Стала съѣзжаться къ поѣзду публика, и должникъ явился тутъ, какъ листъ передъ травою, и съ нимъ дама; лакей беретъ для нихъ билеты, а онъ сидитъ съ своей дамою, чай пьетъ и тревожно осматривается на всѣхъ. Старушка спряталась за Ивана Ивановича и указываетъ на должника, говоритъ: «вотъ — онъ!»

Сербскій вонитель увидаль, сказалъ «хорошо» и сейчасъ же всталъ и прошелъ мимо франта разъ, потомъ во второй, а потомъ въ третій разъ, прямо противъ него остановился и говорить:

— Чего это вы на меня такъ смотрите?

Тотъ отвѣчаетъ: «я на васъ вовсе никакъ не смотрю, я чай пью».

— А-а!—говорить вонитель:— вы не смотрите, а чай пьете? такъ я же васъ заставлю на меня смотрѣть, и вотъ вамъ отъ меня къ чаю лимонный сокъ, песокъ и шоколаду кусокъ!.. Да съ этимъ—хлопъ, хлопъ, хлопъ! его три раза по лицу и ударилъ.

Дама бросилась въ сторону, господинъ тоже хотѣлъ убѣжать и говорилъ, что онъ теперь не въ претензіи; но полиція подскочила и вмѣшалась: «этого, говорить, нельзя: это въ публичномъ мѣстѣ». — и сербскаго вонителя арестовали, и побитаго тоже. Тотъ въ ужасномъ былъ волненіи, — не знаетъ: не то за своей дамой броситься, не то полиціи отвѣчать. А между тѣмъ уже и протоколъ готовъ, и поѣздъ отходить... Дама уѣхала, а онъ остался... и какъ только объявилъ свое званіе, имя и фамилію, полицейскій говоритъ: «такъ вотъ у меня кстати для васъ и бумажка въ портфель есть для врученія». Тотъ — дѣлать нечего — при свидѣтеляхъ поданную ему бумагу принять, и, чтобы освободить себя отъ обязательствъ о невыѣздѣ, немедленно же сполна и съ процентами уплатилъ чекомъ весь долгъ свой старуникъ.

Такъ были побѣждены неодолимыя затрудненія, правда восторжествовала и въ честномъ, но бѣдномъ домѣ водворился покой, и праздникъ сталъ тоже свѣтелъ и весель.

Человѣкъ, который нашелся—какъ уладить столь трудное дѣло, кажется, вполнѣ имѣетъ право считать себя въ самомъ дѣлѣ гениемъ.

---

# ПУТЕШЕСТВІЕ СЪ НИГИЛИСТОМЪ.

«Кто скачетъ, кто мчится  
въ таинственной мглѣ?»

*Гете.*

## ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Случилось провести мнѣ рождественскую ночь въ вагонѣ, и не безъ приключеній.

Дѣло было на одной изъ маленькихъ желѣзнодорожныхъ вѣтвей, такъ сказать, совсѣмъ въ сторонѣ отъ «большого свѣта». Линія была еще не совсѣмъ окончена, поѣзда ходили неаккуратно, и публику помѣщали какъ попало. Какой классъ ни возьми, все выходитъ одно и то же,—все являются вмѣстѣ.

Буфетовъ еще нѣтъ; многіе, чувствуя холодъ, грѣются изъ дорожныхъ фляжекъ.

Согрѣвающіе напитки развиваютъ общеніе и разговоры. Больше всего толкуютъ о дорогѣ и судятъ о ней снисходительно, что бываетъ у насъ не часто.

— Да, плохо насъ везутъ,—сказалъ какой-то военный:— а все спасибо имъ, —лучше, чѣмъ на коняхъ. На коняхъ въ сутки бы не доѣхали, а тутъ завтра къ утру будемъ и завтра назадъ можно. Должностнымъ людямъ то удобство, что завтра съ родными повидаемся, а послѣзавтра и опять къ службѣ.

— Вотъ и я то же самое,—поддержалъ, вставъ на ноги и держась за спинку скамьи, большой, сухощавый духовный;—вотъ у нихъ въ городѣ дьяконъ гласомъ подушавши, многолѣтіе—въ родѣ какъ нѣтухъ выводить. Пригласили меня

за десятку позднюю обѣдню сдѣлать. Многолѣтіе проворчу и опять въ ночь въ свое село.

Одно находили на лошадицхъ лучше, что можно ѣхать въ своей компаніи и гдѣ угодно остановиться.

— Ну, да вѣдь здѣсь компанія-то не навѣкъ, а на часъ,— молвилъ купецъ.

— Однако, иной если и на часъ навяжется, то можно его всю жизнь помнить,—отозвался дьяконъ.

— Чего же это такъ?

— А если, напримѣръ, нигилистъ, да въ полномъ своемъ облаченіи, со всѣми составами и револьверъ-барбосомъ.

— Это сужектъ полицейскій.

— Всякаго это касается, потому вы знаете ли, что отъ одного даже трясенія... пафъ—и готово.

— Оставьте, пожалуйста... Къ чему вы это къ ночи завели. У насъ этого званія еще нѣтъ.

— Можетъ съ поля взятыя.

— Лучше спать давайте.

Всѣ послушались купца и заснули, и не могу уже вамъ сказать, сколько мы проспали, какъ вдругъ насъ такъ сильно встряхнуло, что всѣ мы проснулись, а въ вагонѣ съ нами уже былъ нигилистъ.

## ГЛАВА ВТОРАЯ.

Откуда онъ взялся? Никто не замѣтилъ, гдѣ этотъ неприятный гость могъ взойти, но не было ни малѣйшаго сомнѣнія, что это настоящій, чистокровный нигилистъ, и потому сонъ у всѣхъ пропалъ сразу. Рассмотрѣть его еще было невозможно, потому что онъ сидѣлъ впотемочкахъ въ углу у окна, но и смотрѣть не надо—это такъ уже чувствовалось.

Впрочемъ, дьяконъ попробовалъ произвести обзоріе личности: онъ прошелся къ выходной двери вагона, мимо самаго нигилиста, и, возвратясь, объявилъ потихоньку, что весьма ясно примѣтилъ «рукава съ фибрами», за которыми непременно спрятанъ револьверъ-барбосъ или бинамидъ.

Дьяконъ оказывался человѣкомъ очень живымъ и, для своего сельскаго званія, весьма просвѣщеннымъ и любознательнымъ, а къ тому же и находчивымъ. Онъ немедленно сталъ подбивать военнаго, чтобы тотъ вынулъ па-

пиреску и пошелъ къ нигилисту попросить огня отъ его сигары.

— Вы, говорить.—не цивилизные, а вы со шнорою—вы можете на него такъ толкнуть, что онъ какъ бильярдный шаръ выкатится. Военному все смѣлѣе.

Къ повздовому начальству напрасно было обращаться, потому что оно насъ заперло на ключъ и само отсутствовало.

Военный согласился: онъ всталъ, постоялъ у одного окна, потомъ у другого и, наконецъ, подошелъ къ нигилисту и попросилъ закурить отъ его сигары.

Мы зорко наблюдали за этимъ маневромъ и видѣли, какъ нигилистъ схитрилъ: онъ не далъ сигары, а зажегъ спичку и молча подаль ее офицеру.

Все это холодно, кратко, отчетливо, но безучастливо и въ совершенномъ молчаніи. Ткнулъ въ руки зажженную спичку и отворотился.

Но, однако, для нашего напряженнаго вниманія было довольно и одного этого свѣтового момента, пока сверкнула спичка. Мы разглядѣли, что это человекъ совершенно сомнительный, даже неопредѣленнаго возраста. Точно донской рыбецъ, котораго не отличишь—нынѣшній онъ или прошлогодній. Но подозрительнаго много: греховскіе круглые очки, неблагонамѣренная фуражка, не православнымъ блиномъ, а съ еретическимъ надзатыльникомъ, и на плечахъ тиническій пледъ, составляющій въ нигилистическомъ сословіи своего рода «мундирную пару», но что всего болѣе намъ не понравилось—это его лицо. Не патлатое и восводственное, какъ бывало у ортодоксальныхъ нигилистовъ шестидесятихъ годовъ, а нынѣшнее—щучковатое, такъ сказать фальсифицированное и представляющее какъ бы пѣкую невозможную помесь нигилетки съ жандармомъ. Въ общемъ это являетъ собою подобіе геральдическаго козерога.

И не говорю геральдическаго *льва*, а именно геральдическаго *козерога*. Помните, какъ ихъ обыкновенно изображаютъ на бокахъ аристократическихъ гербовъ: посрединѣ пустой шлемъ и забрало, а на него вдерется левъ и козерогъ. У послѣдняго вся фигура безыкошная и острая, какъ будто «счастья онъ не ищетъ и не отъ счастья бѣжитъ». Вдобавокъ и колера, въ которые былъ окрашенъ нашъ неприятный союзникъ, не обѣщали ничего добраго: волосенки цвѣта гаванна, лицо зеленоватое, а глаза сѣрые и бѣгаютъ

какъ метрономъ, поставленный на скорый темпъ «Allegro udiratto». (Такого темпа въ музыкѣ, разумѣется, нѣтъ, но онъ есть въ нигилистическомъ жаргонѣ).

Чортъ его знаетъ: не то его кто-то догоняетъ, — или онъ за кѣмъ-то гонится — никакъ не разберешь.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Военный, возвратясь на свое мѣсто, сказалъ, что на его взглядъ нигилистъ немножко чисто одѣтъ, и что у него на рукахъ есть перчатки, а передъ нимъ на противоположной лавочкѣ стоитъ бѣльсовая корзина.

Дьяконъ, впрочемъ, сейчасъ же доказалъ, что все это ничего не значитъ, и привелъ къ тому нѣсколько любопытныхъ исторій, которыя онъ зналъ отъ своего брата, служащаго гдѣ-то при таможенѣ.

— Черезъ нихъ, — говорилъ онъ: — разъ проѣзжалъ даже не въ простыхъ перчаткахъ, а филь-де-помъ, а какъ стали его обыскивать — обозначился шульеръ. Думали смирный — посадили его въ подводную тюрьму, а онъ изъ-подъ воды ушелъ.

Всѣ заинтересовались: какъ шульеръ ушелъ изъ-подъ воды?

— А очень просто, — разъяснилъ дьяконъ: — онъ началъ притворяться, что его занапрасно посадили, и началъ просить свѣчку. «Мнѣ, говоритъ, — въ темнотѣ очень скучно, прошу дозволить свѣчку, я хочу въ поверхностную комиссію графу Лорисъ-Мелихову объявленіе написать, кто я таковъ, и въ какихъ упованіяхъ прошу прощады и хорошее мѣсто. Но комендантъ былъ старый, мушкетнаго пороку, — зналъ всѣ ихъ хитрости и не позволилъ. «Кто къ намъ, говоритъ, — залученъ, тому нѣтъ прощады», и такъ все его впотъмахъ и томилъ; а какъ этотъ номеръ, а новаго назначили, шульеръ видитъ, что этотъ изъ неопытныхъ — навзрыдъ передъ нимъ зарыдалъ, и началъ просить, чтобы ему хоть самый маленькій сальный огарочекъ дали и какую-нибудь божественную книгу: «для того, говоритъ, — что я хочу благочестивыя мысли читать и въ раскаяніе придти». Новый комендантъ и далъ ему свѣчной огарокъ и духовный журналъ «Православное Воображеніе», а тотъ и ушелъ.

— Какъ же онъ ушелъ?

— Съ огаркомъ и ушелъ.

Военный посмотрѣлъ на дьякона и сказалъ:

— Вы какой-то вздоръ рассказываете!

— Ничего не вздоръ, а слѣдствіе было.

— Да что же ему огарокъ значилъ?

— А чортъ его знаетъ, что значилъ! Только послѣ стали вездѣ по каморкѣ смотрѣть — ни дыры никакой, ни щелочки, — ничего нѣтъ, и огарка нѣтъ, а изъ листовъ изъ «Православнаго Воображенія» остались одни корневильскіе корешки.

— Ну, вы совсѣмъ чортъ знаетъ что говорите! — нетерпѣливо молвилъ военный.

— Ничего не вздоръ, а я вамъ говорю — и слѣдствіе было, и узнали потомъ, кто онъ такой, да уже поздно.

— А кто же онъ такой былъ?

— Нахалкиканецъ изъ-за Ташкенту. Генералъ Черняевъ его верхомъ на битюкѣ послалъ, чтобы онъ болгарамъ отъ Кокорева пятьсотъ рублей отвезъ, а онъ, по театрамъ да по баламъ, всѣ деньги въ карты проигралъ и убѣжалъ. Свѣчнымъ саломъ смазался, а съ свѣтилемъ ушелъ.

Военный только рукою махнулъ и отвернулся.

Но другимъ пассажирамъ словоохотливый дьяконъ ничего не наскучилъ: они любовно слушали, какъ онъ отъ коварнаго нахалкиканца съ корневильскими корешками перешелъ къ настоящему нашему собственному положенію съ подозрительнымъ нигилистомъ. Дьяконъ говорилъ:

— Я на его чистоту не лыцусь, а какъ вотъ придетъ сейчасъ первая станція — здѣсь одна сторожиха изъ керосиновой бутылочки водку продаетъ, — я поднесу кондуктору бутербрафть, и мы его встряхнемъ и что въ бѣльевой корзинѣ есть, посмотримъ... какіе тамъ у него составы...

— Только надо осторожиѣе.

— Будьте покойны — мы съ молитвою. Помилуй мя, Боже...

Тутъ насъ вдругъ и толкнуло, и завизжало. Многіе издрогнули и перекрестились.

— Вотъ оно и есть, — воскликнулъ дьяконъ: — наѣхали на станцію!

Онъ вышелъ и побѣжалъ, а на его мѣсто пришелъ кондукторъ.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Кондукторъ сталъ прямо передъ нигилистомъ и ласково молвить:

— Не желаете ли, господинъ, корзиночку въ багажъ сдать?

Нигилистъ на него посмотрѣлъ и не отвѣтилъ.

Кондукторъ повторилъ предложеніе.

Тогда мы въ первый разъ услышали звукъ голоса нашего ненавистнаго попутчика. Онъ дерзко отвѣчалъ:

— *Не желаю.*

Кондукторъ ему представилъ резоны, что «такихъ большихъ вещей не дозволено съ собой въ вагоны вносить».

Онъ процѣдилъ сквозь зубы:

— И прекрасно, что не дозволено.

— Такъ желаете, я корзиночку сдамъ въ багажъ?

— *Не желаю.*

— Какъ же, сами правильно разсуждаете, что это не дозволяется, и сами не желаете?

— *Не желаю.*

Взошедшій на эту исторію дьяконъ не утерпѣлъ и воскликнулъ: — «развѣ такъ можно!» но, услыжавъ, что кондукторъ пригрозилъ «оберомъ» и протоколомъ, успокоился и согласился ждать слѣдующей станціи.

— Тамъ городъ, — сказалъ онъ намъ: — тамъ его и скрутятъ.

И что въ самомъ дѣлѣ за упрямый человѣкъ: ничего отъ него не добьются, кромѣ одного—«не желаю».

Неужто тутъ и взаимравду замѣшаны корневильскіе коreshки?

Стало очень интересно, и мы ждали слѣдующей станціи съ нетерпѣніемъ.

Дьяконъ объявилъ, что тутъ у него жандармъ даже кумъ и человѣкъ стараго мушкетнаго пороку.

— Онъ, говоритъ, — ему такую завинтушку подъ ребро ткнетъ, что изъ него все это рояльное воспитаніе выскочитъ.

Оберъ явился еще на ходу поѣзда и настойчиво сказалъ:

— Какъ приѣдемъ на станцію, извольте эту корзину взять.

А тотъ опять тѣмъ же тономъ отвѣчаетъ:

— *Не желаю.*

- Да вы прочитайте правила!  
— Не желаю.  
— Такъ пожалуйте со мною объясниться къ начальнику станціи. Сейчасъ остановка.

## ГЛАВА ПЯТАЯ.

Пріѣхали.

Станціонное зданіе побольше другихъ и поотдѣланиѣе: видны огни, самоваръ, на платформѣ и за стеклянными дверями буфетъ и жандармы. Словомъ, все, что нужно. И вообразите себѣ: нашъ нигилистъ, который оказывалъ столько грубаго сопротивленія во всю дорогу, вдругъ обнаружилъ намѣреніе сдѣлать движеніе, извѣстное у нихъ подъ именемъ *allegro udiratto*. Онъ взялъ въ руки свой маленький саквояжикъ и направился къ двери, но дьяконъ замѣтилъ это и очень ловкимъ манеромъ загородилъ ему выходъ. Въ эту же самую минуту появился оберъ-кондукторъ, начальникъ станціи и жандармъ.

— Это ваша корзина?—спросилъ начальникъ.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ нигилистъ.

— Какъ нѣтъ?!

— Нѣтъ.

— Все равно, пожалуйте.

— Не уйдешь, братъ, не уйдешь,—говорилъ дьяконъ.

Нигилиста и всѣхъ насъ, въ качествѣ свидѣтелей, попросили въ комнату начальника станціи и сюда же внесли корзину.

— Какія здѣсь вещи?—спросилъ строго начальникъ.

— Не знаю,—отвѣчалъ нигилистъ.

Но съ нимъ больше не церемонились: корзинку мгновенно раскрыли и увидали новенькое голубое дамское платье, а въ это же самое мгновеніе въ контору съ отчаяннымъ воплемъ ворвался еврей и закричалъ, что это его корзинка, и что платье, которое въ ней, онъ везетъ одной знатной дамѣ: а что корзину, дѣйствительно, поставилъ онъ, а не кто другой, въ томъ онъ сослался на нигилиста.

Тотъ подтвердилъ, что они взяли вмѣстѣ, и еврей, дѣйствительно, внесъ корзинку и поставилъ ее на лавочку, а самъ легъ подъ сидѣнье.

— А билетъ?—спросили у еврея.

— Ну, что билетъ,—отвѣчалъ онъ...—Я не знаю, гдѣ брать билетъ...

Еврея вѣжливо придержать, а отъ нигилиста потребовали удостовѣренія его личности. Онъ молча подалъ листокъ, взглянувъ на который начальникъ станціи рѣзко перемѣнилъ тонъ и попросилъ его въ кабинетъ, добавивъ при этомъ:

— Ваше превосходительство здѣсь ожидаютъ.

А когда тотъ скрылся за дверью, начальникъ станціи приложилъ ладони рукъ рупоромъ ко рту и отчетливо объявилъ намъ:

— Это *прокуроръ судебной палаты!*

Всѣ ощутили полное удовольствіе и перенесли его въ молчаніи; только одинъ военный вскрикнулъ:

— А все это надѣлалъ этотъ болтунъ дьяконъ! Ну-ка— гдѣ онъ... куда онъ дѣлся?

Но всѣ напрасно оглядывались: «куда онъ дѣлся»,—дьякона уже не было; онъ исчезъ, какъ нахалкиканецъ, даже и безъ свѣчки. Она, впрочемъ, была и не нужна, потому что на небѣ уже свѣтало и въ городѣ звонили къ рожденской заутренѣ.



# МАЛЕНЬКАЯ ОШИБКА.

СЕКРЕТЪ ОДНОЙ МОСКОВСКОЙ ФАМИЛИИ.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Вечеркомъ, на свиткахъ, сидя въ одной благоразумной компаніи, было говорено о вѣрѣ и о невѣріи. Рѣчь шла, впрочемъ, не въ смыслѣ высшихъ вопросовъ деизма или матеріализма, а въ смыслѣ вѣры въ людей, одаренныхъ особыми силами предвѣдѣнія и прорицанія, а, пожалуй, даже и своего рода чудотворства. И случился тутъ же нѣкто, степенный московскій человѣкъ, который сказалъ слѣдующее:

— Не легко это, госнода, судить о томъ: кто живетъ съ вѣрою, а который не вѣруетъ, ибо разные тому въ жизни бывають прилоги; случается, что разумъ-то навѣ въ таковыхъ случаяхъ впадаетъ въ ошибки.

И послѣ такого вступленія онъ разсказалъ намъ любопытную повѣсть, которую я постараюсь передать его же словами:

Дядюшка и тетушка мои одинаково прилежали покойному чудотворцу Ивану Яковлевичу. Особенно тетушка, — никакого дѣла не начинала, у него не спросившись. Сначала бывало сходить къ нему въ сумасшедшій домъ и посоветуется, а потомъ попроситъ его, чтобы за ея дѣло молился. Дядюшка былъ себѣ на умѣ и на Ивана Яковлевича меньше полагался, однако тоже довѣрялъ иногда и носить ему дары и жертвы не прелятествовалъ. Люди они были не богатые, но очень достаточные, — торговали чаемъ и сахаромъ изъ

магазина въ своемъ домѣ. Сыновей у нихъ не было, а были три дочери: Капитолина Никитишна, Катерина Никитишна и Ольга Никитишна. Все онѣ были собою недурны и хорошо знали разныя работы и хозяйство. Капитолина Никитишна была замужемъ, только не за купцомъ, а за живописцемъ,—однако, очень хорошій былъ человѣкъ, и довольно зарабатывалъ — все бралъ подряды выгодно церкви расписывать. Одно въ немъ всему родству неприятно было, что работалъ божественное, а зналъ какія-то вольнодумства изъ Курганова «Письмовника». Любилъ говорить про Хаосъ, про Овидія, про Проміея и охотникъ былъ сравнивать баснословія съ бытописаніемъ. Если бы не это, все бы было прекрасно. А второе — то, что у нихъ дѣтей не было, и дядюшкѣ съ теткой это очень огорчало. Они еще только первую дочь выдали замужъ, и вдругъ она три года была бездѣтна. За это другихъ сестеръ женихи обѣгать стали.

Тетунка спрашивала Ивана Яковлевича, черезъ что ея дочь не родить: — оба, говорить, — молоды и красивы, а дѣтей нѣтъ?

Иванъ Яковлевичъ забормоталъ:

— Есть убо небо небесе; есть небо небесе.

Его подсказчицы перевели теткѣ, что батюшка велить, — говорить, — вашему зятю, чтобы онъ Богу молился, а онъ, должно быть, у васъ маловѣрующій.

Тетунка такъ и ахнула: все, говорить, — ему явлено! И стала она приставать къ живописцу, чтобы онъ поисповѣдался; а тому все трынъ-трава! Ко всему легко относился... даже по постамъ скромное фль... и притомъ, слышать она стороною, будто онъ и червей, и устриць вкушаетъ. А жили они все въ одномъ домѣ, и часто сокрушались, что есть въ ихнемъ купеческомъ родствѣ такой человѣкъ безъ вѣры.

## ГЛАВА ВТОРАЯ.

Вотъ и пошла тетка къ Ивану Яковлевичу, чтобы попросить его разомъ помолиться о еже рабѣ Капитолинѣ отверсти ложесна, а раба Ларія (такъ живописца звали) просвѣтити вѣрою.

Просять объ этомъ вмѣстѣ и дядя, и тетка.

Иванъ Яковлевичъ залепеталъ что-то такое, чего и по-

нять нельзя, а его послушные женки, которыя возлѣ него присидѣли, разъясняютъ:

— Онъ. говорятъ, — нынѣ невнятенъ, а вы скажите о чемъ просите,—мы ему завтра на записочкѣ подадимъ.

Тетушка стала сказывать, а тѣ записываютъ: «Рабѣ Капитолинѣ отверсть ложесна, а рабу Ларію усугубити вѣру.»

Оставили старики эту просительную записочку и пошли домой веселыми ногами.

Дома они никому ничего не сказали, кромѣ одной Капючки, и то съ тѣмъ, чтобы она мужу своему, невѣрному живописцу, этого не передавала, а только жила бы съ нимъ какъ можно ласковѣе и согласнѣе, и смотрѣла за нимъ: не будетъ ли онъ приближаться къ вѣрѣ въ Ивана Яковлевича. А онъ былъ ужасный чертыханщикъ, и все съ при-словьями, точно скоморохъ съ Прѣсни. Все ему шутки да забавки. Придетъ въ сумерки къ тестю—«пойдемъ.—говорить,—часословъ въ пятьдесятъ два листа читать», то-есть, значить, въ карты играть... Или садится, — говоритъ:— «съ уговоромъ, чтобы играть до перваго обморока».

Тетушка, бывало, этихъ словъ слышать не можетъ. Дядя ему и сказалъ: — «Не огорчай такъ ее: она тебя любитъ и за тебя обѣщаніе сдѣлала». А онъ раземѣялся и говорить тецѣ:

— Зачѣмъ вы невѣдомыя обѣщанія даете? Или вы не знаете, что черезъ такое обѣщаніе глава Ивана Предтечи была отрублена. Смотрите, можетъ у насъ въ домѣ какое-нибудь неожиданное несчастіе быть.

Тещу это еще больше испугало, и она всякій день, въ тревогѣ, въ сумасшедшій домъ бѣгала. Тамъ ее успокоятъ,—говорятъ, что дѣло идетъ хорошо: батюшка всякій день записку читаетъ, и что теперь о чемъ писано, то скоро сбудется.

Вдругъ и сбилось, да такое, что и сказать неохотно.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Приходитъ къ тетушкѣ средняя ея дочь дѣвица Катечка и прямо ей въ ноги, и рыдаетъ, и горько плачетъ.

Тетушка говоритъ:—что тебѣ—кто обидѣлъ?

А та сквозь рыданія отвѣчаетъ:

— Милая тетенька, и сама я не знаю, что это такое и

отчего... въ первый и въ послѣдній разъ сдѣлалось... Только вы отъ тятеньки мой грѣхъ скройте.

Тетушка на нее посмотрѣла да прямо пальцемъ въ животъ ткнула и говоритъ:

— Это мѣсто?

Катечка отвѣчаетъ:

— Да, тетенька... какъ вы угадали... сама не знаю отчего...

Тетушка только ахнула да руками всплеснула.

— Дитя мое, говорить,—и не дознавайся: это, можетъ быть, я виновата въ ошибкѣ,—я сейчасъ узнать съѣзжу,—и сейчасъ на извозникѣ полетѣла къ Ивану Яковлевичу.

— Покажите, говорить, — мнѣ записку нашей просьбы, о чемъ батюшка для насъ проситъ рабѣ Божьей плоть чрева: какъ она писана?

Присѣдѣнція поискали на окнѣ и подали.

Тетушка взглянула, и мало ума не рѣшилась. Что вы думаете? Дѣйствительно вѣдь все вышло по ошибочному моленію потому, что на мѣсто рабы Божіей Капитолины, которая замужемъ, тамъ писана раба Катерина — которая еще незамужняя, дѣвица.

Женки говорятъ:—Поди же, какой грѣхъ! Имена очень сходственны... но ничего, это можно поправить.

А тетушка подумала:—нѣтъ, врите, теперь вамъ ужъ не поправить: Катѣ ужъ вымолено,—и разорвала бумажку на мелкія частички.

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Главное дѣло, боялись: какъ дядюшкѣ сказать? Онъ былъ такой человекъ, что если расхочется, то его мудрено унять. Къ тому же, онъ Катю меньше всѣхъ любилъ, а любимая дочь у него была самая младшая, Оленька, — ей онъ всѣхъ больше и обѣщать.

Думала-думала тетушка и видитъ, что однимъ умомъ ей этой бѣды не обдумать,—зоветъ зятя-живописца на совѣтъ и все ему во всѣхъ подробностяхъ открыла, а потомъ проситъ:

— Ты, говорить. — хотя невѣрующій, однако, могутъ и въ тебѣ быть какія-нибудь чувства, — пожалуйста пожалѣй ты Катю, пособи мнѣ скрыть ея дѣвичій грѣхъ.

А живописецъ вдругъ лобъ нахмурилъ и строго говоритъ:

— Извините, пожалуйста, — вы хотя моей жёнѣ мать, однако, во-первыхъ, я этого терпѣть не люблю, чтобы меня безвѣрнымъ считали, а во-вторыхъ, я не понимаю—какой же тутъ причитаете Катѣ грѣхъ, если объ ней такъ Иванъ Яковлевичъ столько времени просилъ? И къ Катечкѣ всѣ братскія чувства имѣю, и за нее заступлюсь, потому что она тутъ ни въ чемъ не виновата.

Тетушка пальцы кусаетъ и плачетъ, а сама говоритъ:

— Ну... ужъ какъ ни въ чемъ?

— Разумѣется, ни въ чемъ. Это вашъ чудотворецъ все напутать, съ него и зыскиваете.

— Какое же съ него зысканіе! Онъ праведникъ.

— Ну, а если праведникъ, такъ и молчите. Пришлите мнѣ съ Катей три бутылки шампанскаго вина.

Тетушка переспрашиваетъ:—что такое?

А онъ опять отвѣчаетъ:—Три бутылки шампанскаго,—одну ко мнѣ сейчасъ въ мои комнаты, а двѣ послѣ, куда прикажу, но только, чтобы дома готовы были и во льду стояли заверчены.

Тетушка посмотрѣла на него и только головой покивала:

— Боже съ тобою, говоритъ:—я думала, что ты только безъ одной вѣры, а ты святые лики изображаешь, а самъ безъ всѣхъ чувствъ оказываешься... Оттого я твоимъ иконамъ и не могу поклониться.

А онъ отвѣчаетъ:

— Идѣтъ, вы насчетъ вѣры оставьте: это вы, кажется, сомнѣваетесь и все по естеству думаете, будто тутъ собственная Катина причина есть, а я крѣпко вѣрю, что во всемъ этомъ одинъ Иванъ Яковлевичъ причиненъ; а чувства мои вы увидите, когда мнѣ съ Катей въ мою мастерскую шампанское пришлете.

## ГЛАВА ПЯТАЯ.

Тетушка думала-подумала, да и послала живописцу вино съ самой Катечкой. Та изонла съ подносомъ, вся въ слезахъ, а онъ вскопичилъ, схватилъ ее за обѣ руки и самъ заплакалъ.

— Скорблю, говоритъ, — голубочка моя, что съ тобою случилось, однако, дремать съ этимъ некогда,—подавай мнѣ скорѣе наружу всѣ твои тайности.

Дѣвица ему открылась какъ синалина, — а онъ взять да ес у себя въ мастерской на ключъ и заперъ.

Тетушка встрѣчаетъ зятя съ заплаканными глазами и молчитъ. А онъ и ее обнялъ, поцѣловаль и говоритъ:

— Ну не бойтесь, не плачьте. Авось Богъ поможетъ.

— Скажи же мнѣ,—шепчетъ тетушка:—кто всему виновать?

А живописецъ ей ласково пальцемъ погрозилъ и говоритъ:

— Вотъ это ужъ не хорошо: сами вы меня постоянно невѣриемъ попрекали, а теперь, когда вѣрѣ вашей дано испытаніе, я вижу, что вы сами нимало не вѣрите. Неужто вамъ не ясно, что виноватыхъ нѣтъ, а просто чудотворецъ маленькую ошибку сдѣлалъ.

— А гдѣ же моя бѣдная Катечка?

— Я ее страшнымъ художническимъ заклятьемъ заклялъ,—она, какъ кладъ отъ аминя, и рассыпалась.

А самъ ключъ тецѣ показываетъ.

Тетушка догадалась, что онъ дѣвушку отъ перваго отцова гнѣва укрылъ, и обняла его.

Шепчетъ:

— Прости меня,—въ тебѣ нѣжныя чувства есть.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Пришелъ дядя, по обычаю чаю напился и говоритъ:

— Ну, давай читать часословъ въ пятьдесятъ два листа?

Сѣли. А домашніе всѣ двери вокругъ нихъ затворили и на цыпочкахъ ходять. Тетушка же то отойдетъ отъ дверей, то опять подойдетъ, — все подслушиваетъ, и все крестится.

Наконецъ, какъ тамъ что-то звякнетъ... Она поотбѣжала и спряталась.

— Объявилъ,—говоритъ.—объявилъ тайну! Теперь начнется адское представленіе.

И точно: вразъ дверь растворилась, и дядя кричитъ:

— Шубу мнѣ и большую палку!

Живописецъ его назадъ за руку и говоритъ:

— Что ты? Куда это?

Дядя говоритъ:

— Я въ сумасшедшій домъ поѣду чудотворца бить!

Тетушка за другими дверями застонала:

— Бѣгите, — говорить, — скорѣе въ сумасшедшій домъ, чтобы батюшку Ивана Яковлевича спрятали!

И дѣйствительно, дядя бы его непременно избилъ, но зять-живописецъ страхомъ вѣры своей и этого удержалъ.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Сталь зять вспоминать тестю, что у него есть еще одна дочь.

— Ничего.—говорить,—той своя доля, а я Кюрейшу бить хочу. Послѣ пусть меня судить.

— Да я тебя, — говорить, — не судомъ стращаю, а ты посуди: какой вредъ Иванъ Яковлевичъ Ольгѣ можетъ сдѣлать. Вѣдь это ужасъ, чѣмъ ты рискуешь!

Дядя остановился и задумался:

— Какой же.—говорить,—вредъ онъ можетъ сдѣлать?

— А какъ разъ такой самый, какой вредъ онъ сдѣлалъ Катечкѣ.

Дядя поглядѣлъ и отвѣчаетъ:

— Полно вздоръ городить! Развѣ онъ это можетъ?

А живописецъ отвѣчаетъ:

— Ну, ежели ты, какъ я вижу, — не вѣрующій, то дѣлай, какъ знаешь. только потомъ не тужи и бѣдныхъ дѣвушекъ не виновать.

Дядя и остановился. А зять его втащилъ назадъ въ комнату и началъ уговаривать.

— Лучше, — говорить, — по-моему, чудотворца въ сторону, а взять это дѣло и домашними средствами поправить.

Старикъ согласился, только самъ не зная, какъ именно поправить, а зять-живописецъ и тутъ помогъ—говорить:

— Хорошія мысли надо искать не во гнѣвѣ, а въ радости.

— Какое,—отвѣчаетъ,—тенирь, братецъ, веселіе при такомъ случаѣ?

— А такое, что у меня есть два пузырька шипучки, и пока ты ихъ со мною не выпьешь, я тебѣ ни одного слова не скажу. Согласись со мною. Ты знаешь, какъ я характеренъ.

Старикъ на него посмотрѣлъ и говоритъ: — «подводи, подводи! Чтѣ такое дальше будетъ?» А впрочемъ согласился.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Живонисецъ живо скомандоваль и назадъ пришелъ, а за нимъ идетъ его мастеръ, молодой художникъ, съ подносомъ, и несетъ двѣ бутылки съ бокалами.

Какъ вошли, такъ живонисецъ за собою двери занеръ и ключъ въ карманъ положилъ. Дядя посмотрѣлъ и все понялъ, а зять художнику кивнулъ, — тотъ взялъ и сталъ въ смирную просьбу.

— Виновать, — простите и благословите.

Дядюшка зятя спрашиваетъ:

— Бить его можно?

Зять говорить:

— Можно, да не надобно.

— Ну, такъ пусть онъ передо мною, по крайности, на колѣна станеть.

Зять тому шепнулъ:

— Ну, стань за любимую дѣвушку на колѣна передъ батюкою.

Тотъ сталъ.

Старикъ и заплакалъ.

— Очень, — говорить, — любишь ее?

— Люблю.

— Ну, цѣлуй меня.

Такъ Ивана Яковлевича маленькую ошибку и прикрыли. И оставалось все это въ благополучной тайности, и къ младшей сестрѣ женихи пошли, потому что видать — дѣвицы надежныя.

---

# ПУГАЛО.

---

«У страха большіе глаза».

*Поговорка.*

## ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Мое дѣтство прошло въ Орлѣ. Мы жили въ домѣ Нѣмчинова, гдѣ-то недалеко отъ «маленькаго собора». Теперь я не могу разобрать, гдѣ именно стоялъ этотъ высокій, деревянный домъ, но помню, что изъ его сада былъ просторный видъ за широкой и глубокой оврагъ, съ обрывистыми краями, прорѣзанными пластами красной глины. За оврагомъ разстилался большой выгонъ, на которомъ стояли казенные магазины, а возлѣ нихъ вѣкомъ всегда учились солдаты. Я всякій день смотрѣлъ, какъ ихъ учили и какъ ихъ били. Тогда это было въ употребленіи, но я никакъ не могъ къ этому привыкнуть, и всегда о нихъ плакалъ. Чтобы это не часто повторилось, моя няня, престарѣлая московская солдатка — Марина Борисовна, уводила меня гулять въ городской садъ. Здѣсь мы садились надъ мелководной Окой и глядя, какъ въ ней купались и играли маленькія дѣти, свободѣ которыхъ я тогда очень завидовалъ.

Главная выгода ихъ привольнаго положенія въ моихъ глазахъ состояла въ томъ, что они не имѣли на себѣ ни обуви, ни сѣлья, такъ какъ рубашонки ихъ были сшиты и воротъ ихъ съ рукавами связаны. Въ такомъ приспособленіи рубашки получали видъ небольшихъ мѣшковъ, и ребятишки, ставя ихъ противъ теченія, налавливали туда кро-

хотную серебристую рыбежку. Она такъ мала, что ее нельзя чистить, и это признавалось достаточнымъ основаніемъ къ тому, чтобы ее варить и ѣсть нечищеною.

Я никогда не имѣлъ отваги узнать ея вкусъ, но ловля ея, производившаяся крохотными рыбаками, казалась мнѣ верхомъ счастья, какимъ мальчика монахъ тогдашнихъ лѣтъ могла утѣшить свобода.

Няня, впрочемъ, знала хорошіе доводы, что мнѣ такая свобода была бы совершенно неприлична. Доводы эти заключались въ томъ, что я — дитя благородныхъ родителей и отца моего всѣ въ городѣ знаютъ.

— Другое дѣло,—говорила няня:—если-бы это было въ деревнѣ. Тамъ, при простыхъ, сѣрыхъ мужикахъ, и мнѣ, пожалуй, можно было бы позволить наслаждаться кой-чѣмъ въ томъ же свободномъ родѣ.

Кажется, отъ этихъ именно сдерживающихъ разсужденій меня стало сильно и томительно манить въ деревню, и восторгъ мой не зналъ предѣловъ, когда родители мои купили небольшое имѣніице въ Кромскомъ уѣздѣ. Тѣмъ же лѣтомъ мы переѣхали изъ большого городского дома въ очень уютный, но маленькій деревенскій домъ съ балкономъ, подъ соломенную крышею. Лѣсъ въ Кромскомъ уѣздѣ и тогда былъ дорогъ и рѣдокъ. Это мѣстность степная и хлѣбородная и притомъ она хорошо орошена маленькими, но чистыми рѣчками.

## ГЛАВА ВТОРАЯ.

Въ деревнѣ у меня сразу же завелись обширныя и любопытныя знакомства съ крестьянами. Пока отецъ и мать были усиленно заняты устройствомъ своего хозяйства, я не терялъ времени, чтобы самымъ тѣснымъ образомъ сблизиться съ взрослыми парнями и съ ребятишками, которые пасли лошадей «на кулигахъ» \*). Сильнѣе всѣхъ моими привязанностями овладѣлъ впрочемъ старый мельникъ, дѣдушка Пляя, — совершенно сѣдой старикъ съ преобладающими черными усами. Онъ болѣе всѣхъ другихъ былъ доступенъ для разговоровъ, потому что на работы не отлучался, а или показывалъ съ навозными вилами по плотинѣ, или сидѣлъ

\*) *Кулига* — мѣсто, гдѣ срублены и выжжены деревья, чищоба, пережога.

надъ дрежащею скрынью и задумчиво слушалъ, ровно ли стучать мельничныя колеса или не сосеть ли гдѣ-нибудь подъ скрынью вода. Когда ему надокучало ничего не дѣлать,—онъ заготовлялъ на всякій случай кленовыя кулачья или дѣвки для шестерни. Но во всѣхъ описанныхъ положеніяхъ онъ легко отклонялся отъ дѣла и вступалъ охотно въ бесѣды, которыя онъ велъ отрывками, безъ всякой связи, но любилъ систему намековъ и при этомъ подсмѣивался не то самъ надъ собою, не то надъ слушателями.

По должности мельника дѣдушка Илья имѣлъ довольно близкое соотношеніе къ водяному, который завѣдывалъ нашими прудами, верхнимъ и нижнимъ, и двумя болотами. Свою главную штабъ-квартиру этотъ демонъ имѣлъ подъ холостою скрынью на нашей мельницѣ.

Дѣдушка Илья объ немъ все зналъ и говорилъ:

— *Онъ* меня любитъ. *Онъ*, если когда и сердитъ домой придетъ за какіе-нибудь безпорядки, — онъ меня не обижаетъ. Ляжъ тутъ другой на моемъ мѣстѣ, на мѣшкахъ,— онъ такъ и сорветъ съ мѣшка и выброситъ, а меня ни въ жизнь не тронетъ.

Всѣ молодіиіе люди подтверждали мнѣ, что между дѣдушкою Ильею и «водянымъ дѣдкой», дѣйствительно, существовали описанныя отношенія, но только они держались вовсе не на томъ, что водяной Илью любилъ, а на томъ, что дѣдушка Илья, какъ настоящій, заправскій мельникъ, зналъ настоящее, заправское мельничное слово, которому водяной и всѣ его чертенята повиновались такъ же безпрекословно, какъ ужи и жабы, жившіе подъ скрынями и на плотнѣхъ.

Съ ребятами я ловилъ нескарей и гольцовъ, которыхъ было великое множество въ нашей узенькой, но чистой рѣчкѣ Гостомлѣ; но, по серьезности моего характера, болѣе держался общества дѣдушки Ильи, опытный умъ котораго открывалъ мнѣ полный таинственной прелести міръ, который былъ совсѣмъ мнѣ, городскому мальчику неизвѣстенъ. Отъ Ильи я узналъ и про домового, который еналъ на каткѣ, и про водяного, который имѣлъ прекрасное и важное помѣщеніе подъ колесами, и про кикимору, которая была такъ застыличива и непостоянна, что пряталась отъ всякаго нескромнаго взгляда въ разныхъ пыльныхъ замѣтахъ,—то въ ригѣ, то въ овнѣ, то на толчѣ, гдѣ осенью

Толкли замашки. Меньше всѣхъ дѣдушка знать про лѣшаго, потому что этотъ жилъ гдѣ-то далеко у Селиванова двора и только иногда заходилъ къ намъ въ густой ракитникъ, чтобы сдѣлать себѣ новую ракитовую дудку и поиграть на ней въ тѣни у сажалокъ. Впрочемъ, дѣдушка Илья во всю свою богатую приключеніями жизнь видѣлъ лѣшаго лицомъ къ лицу всего только одинъ разъ, и то на Николинъ день, когда у насъ бывалъ храмовой праздникъ. Лѣшій пошелъ къ Ильѣ, прикинувшись совсѣмъ смиреннымъ мужичкомъ, и попросилъ понюхать табачку. А когда дѣдушка сказалъ ему: «чортъ съ тобой — понюхай!» и при этомъ открылъ тавлинку, — то лѣшій не могъ болѣе соблюсти хорошаго поведенія и сошкольничалъ: онъ такъ поддалъ ладонью подъ табакерку, что запорошилъ доброму мельнику всѣ глаза.

Всѣ эти живыя и занимательныя исторіи имѣли тогда для меня полную вѣроятность, и ихъ густое, образное содержаніе до такой степени переполняло мою фантазію, что я самъ былъ чуть ли не духовидцемъ. По крайней мѣрѣ, когда я однажды заглянулъ съ большимъ рискомъ въ толчейный амбаръ, то глазъ мой обнаружилъ такую острогу и тонкость, что видѣлъ сидѣвшую тамъ въ пыли кикимору. Она была неумытая, въ пыльномъ повойникѣ и съ золотушными глазами. А когда я, испуганный этимъ видѣніемъ, бросился безъ памяти бѣжать оттуда, то другое мое чувство — слухъ — обнаружило присутствіе лѣшаго. Я не могу поручиться, гдѣ именно онъ сидѣлъ, — вѣроятно, на какой-нибудь высокой ракитѣ, но только, когда я бѣжалъ отъ кикиморы, лѣшій во всю мочь засвисталъ на своей зеленой дудкѣ, и такъ сильно прихватилъ меня къ землѣ за ногу, что у меня оторвался каблукъ отъ ботинки.

Едва переводя духъ, я сообщилъ все это домашнимъ и за свое чистосердечіе былъ посаженъ въ комнатѣ читать священную исторію, пока посланный босою мальчикъ сходилъ въ сосѣднее село къ солдату, который могъ исправить поврежденіе, сдѣланное лѣшимъ въ моей ботинкѣ. Но и самое чтеніе священной исторіи не защищало уже меня отъ вѣры въ тѣ сверхъестественныя существа, съ которыми я, можно сказать, сживался при посредствѣ дѣдушки Ильи. Я хорошо зналъ и любилъ священную исторію, — я и до сихъ поръ готовъ ее перечитывать, а все-таки

ребячий милый міръ тѣхъ сказочныхъ существъ, о которыхъ наговорилъ мнѣ дѣдушка Илья, казался мнѣ необходимымъ. Лѣсные родинки оспротѣли бы, если бы отъ нихъ были отрѣшены геніи, приставленные къ нимъ народною фантазіей.

Въ числѣ неприятныхъ послѣдствій отъ лѣшевой дудки было еще то, что дѣдушка Илья, за прочитанные имъ для меня курсы демонологіи, получилъ отъ матушки выговоръ и нѣкоторое время меня дичился и будто не хотѣлъ продолжать моего образованія. Онъ даже притворялся, будто гонитъ меня отъ себя прочь.

— Помель отъ меня прочь, иди къ своей нянькѣ,—говорилъ онъ, заворачивая меня къ себѣ спиною и подавая широкой, мозолистой ладонью подъ сидѣнье.

Но я уже могъ гордиться своимъ возрастомъ и считать подобное обращеніе со мною несовмѣстнымъ. Мнѣ было восемь лѣтъ, и къ нянькѣ своей мнѣ тогда идти было не зачѣмъ. И это и даль почувствовать Илья, принося ему по-доскательную чашку вишенъ изъ-подъ слитой наливки.

Дѣдушка Илья любилъ эти фрукты, — принялъ ихъ, смягчился, погладилъ меня своей мозольной рукой по головѣ, и между нами снова возстановились самыя короткія и самыя добрыя отношенія.

— Ты вотъ что,—говорилъ мнѣ дѣдушка Илья:—ты мужика всегда больше всѣхъ почитай и люби слушать. По того, что отъ мужика услышишь, не всѣмъ сказывай. А не то—прогону.

Съ тѣхъ поръ я сталъ танть все, что слышалъ отъ мельника, и зато узналъ такъ много интереснаго, что началъ бояться не только ночью, когда всѣ домовые, лѣшіе и кикиморы становятся очень дерзновенны и наглы, но даже сталъ бояться и днемъ. Такой страхъ овладѣлъ мною потому, что домъ нашъ и весь нашъ край, оказалось, находился во власти одного престрашнаго разбойника и кроваваго чародѣя, который назывался Селиванъ. Онъ жилъ отъ насъ всего въ шести верстахъ «на розновильѣ», т. е. тамъ, гдѣ большой почтовый трактъ развѣтвился на два: одна, новая дорога, шла на Кіевъ, а другая, старая, съ дулицыными рабитами «Екатериинскаго насажденія», шла на Фатежъ. Она теперь уже брошена и лежитъ взапустъ.

Въ веретѣ за этимъ розновилемъ былъ хорошій, дубовый лѣсъ, а при лѣсѣ — самый дрянной, совершенно закрытый и полуобвалившійся постоянный дворъ, въ которомъ, говорили, будто никто никогда не останавливался. И этому можно было легко вѣрить, потому что дворъ не представлялъ никакихъ удобствъ для постоя, и потому, что отсюда было слишкомъ близко до города Кромъ, гдѣ и въ тѣ полудикія времена можно было надѣяться найти теплую горницу, самоваръ и калачи второй руки. Вотъ въ этомъ — то ужасномъ дворѣ, гдѣ *никто* никогда не останавливался, и жилъ «пустой дворникъ» Селиванъ, ужасный человекъ, съ которымъ никто не радъ былъ встрѣтиться.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Повѣсть «пустого дворника» Селивана, по словамъ дѣдушки Ильи, была слѣдующая. Селиванъ былъ кромской мѣщанинъ; родители его рано умерли, а онъ жилъ въ мальчикахъ у калачника и продавалъ калачи у кабака за Орловской заставой. Мальчикъ онъ былъ хорошій, добрый и послушный, но только калачнику всегда говорили, что съ Селиваномъ требовалась осторожность, потому что у него на лицѣ была красная мѣтнка, какъ огонь, — а это никогда даромъ не ставится. Были такіе люди, которые знали на это и особенную пословицу: «Богъ плута мѣтитъ». Хозяинъ калачникъ очень хвалилъ Селивана за его усердіе и вѣрность, но все другіе люди, по искреннему своему доброжелательству, говорили, что истинное благоразуміе все-таки заставляетъ его остерегаться и много ему не довѣрять, — потому что «Богъ плута мѣтитъ». Если мѣтка на его лицѣ положена, то это именно для того, чтобы все слишкомъ довѣрчивые люди его остерегались. Калачникъ не хотѣлъ отстать отъ людей умныхъ, но Селиванъ былъ очень хорошій работникъ. Калачи онъ продавалъ исправно и всякій вечеръ аккуратно высыпалъ хозяину изъ большого кожаного кошелька все пятаки и гривны, сколько выручилъ отъ проѣзжавшихъ мужичковъ. Однако, мѣтка лежала на немъ не даромъ, а до случая (это уже всегда такъ бываетъ). Пришелъ въ Кромъ изъ Орла «отслужившійся палачъ», по имени Борька, и сказано было ему: «ты былъ палачъ, Борька, а теперь тебѣ у насъ жить бу-

деть горько», — и всё, насколько кто могъ, старались, чтобы такія слова не остались для оставшаго палача вотице. А когда палачъ Борька пришелъ изъ Орла въ Кромы, съ нимъ уже была дочь, дѣвочка лѣтъ пятнадцати, которая родилась въ острогѣ, — хотя многіе думали, что ей бы лучше совсѣмъ не родиться.

Пришли они въ Кромы жить по припискѣ. Это теперь неоновятно, но тогда бывало такъ, что отслужившимся палачамъ дозволялось приписываться къ какимъ-нибудь городишкамъ, и дѣлалось это просто, ни у кого на то желанія и согласія не спрашивая. Такъ случилось и съ Борькой: велѣлъ какой-то губернаторъ приписать этого стараго палача въ Кромахъ, — его и приписали, а онъ пришелъ сюда жить и привелъ съ собою дочку. Но только въ Кромахъ палачъ, разумѣется, ни для кого не былъ желаннымъ гостемъ, а, напротивъ, всё имъ пренебрегали, какъ люди чистые, и ни его, ни его дѣвочку рѣшительно никто не захотѣлъ пустить къ себѣ на дворъ. А время, когда они пришли, было уже очень холодное.

Попросился палачъ въ одинъ домъ, потомъ въ другой и не сталъ болѣе докучать. Онъ видѣлъ, что не возбуждаетъ ни въ комъ ни малѣйшаго состраданія, и зналъ, что виновнѣ этого заслужилъ.

«Но дитя! — думалъ онъ. — Дитя не виновато въ моихъ грѣхахъ, кто-нибудь пожалѣетъ дитя».

И Борька опять пошелъ стучаться изъ двора во дворъ, прося взять, если не его, то только дѣвочку... Онъ кланялся, что никогда даже не придетъ, чтобы навѣстить дочь.

Но и эта просьба была такъ же напрасна.

Кому охота съ палачомъ знаться?

И вотъ, обойдя городишко, стали эти злополучные приписельцы опять проситься въ острогъ. Тамъ хоть можно было обогрѣться отъ осенней мокроты и стужи. Но и въ острогъ ихъ не взяли, потому что срокъ ихъ острожной неволи миновалъ, и они теперь были люди вольные. Они были свободны умереть подъ любымъ заборомъ, или въ любой канавѣ.

Милостивно палачу съ дочерью иногда подавали не для нихъ, конечно, а Христа ради, но въ домъ никуда не пускали. Старикъ съ дочерью не имѣли пріюта и почевали

то гдѣ-нибудь подъ кручею, въ глинокопныхъ ямахъ, то въ опустѣлыхъ сторожевыхъ шалахахъ на огородахъ, по долинь. Суровую долю ихъ дѣлила тощая собака, которая пришла съ ними изъ Орла.

Это былъ большой, лохматый песъ, на которомъ вся шерсть завойлочилась въ войлокъ. Чѣмъ она питалась при своихъ нищихъ-хозяевахъ—это никому не было извѣстно, но, наконецъ, догадались, что ей вовсе и не нужно было питаться, потому что она была «безчеревная», то-есть у нея были только кости да кожа и желтые, истомленные глаза, а «въ серединѣ» у нея ничего не было, и потому нища ей вовсе не требовалась.

Дѣдушка Пляя рассказывалъ мнѣ, какъ этого можно достигать «самымъ легкимъ манеромъ». Любую собаку, пока она щенкомъ, стоитъ только разъ напоить жидко расплавленнымъ оловомъ или свинцомъ, и она сдѣлается *белъ черева* и можетъ не ѣсть. Но, разумѣется, при этомъ необходимо знать «особливое, колдовское слово». А за то, что палачъ, очевидно, зналъ это слово, — люди строгой правдивности убили его собаку. Оно, конечно, такъ и слѣдовало, чтобы не давать побрякушки колдовству; но это было большимъ несчастьемъ для нищихъ, такъ какъ дѣвочка снала вмѣстѣ съ собакою, и та удѣляла ребенку часть теплоты, которую имѣла въ своей шерсти. Однако, для такихъ пустяковъ, разумѣется, нельзя было потворствовать волишебствамъ, и всѣ были того мнѣнія, что собака уничтожена совершенно правильно. Пусть колдунамъ не удастся морочить правовѣрныхъ.

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Послѣ уничтоженія собаки, дѣвочку согрѣвалъ въ шалахахъ самъ палачъ, но онъ уже былъ старъ и, къ его счастью, ему недолго пришлось нести эту непосильную для него заботу. Въ одну морозную ночь дитя ощутило, что отецъ ея застылъ болѣе, чѣмъ она сама, и ей сдѣлалось такъ страшно, что она отъ него отодвинулась и даже отъ ужаса потеряла сознание. До утра пробыла она въ объятіяхъ смерти. Когда стало свѣтать, и люди, шедшіе къ заутренѣ, заглянули изъ любопытства въ шалахъ, то они увидѣли отца и дочь закоченѣвшими. Дѣвочку кое-какъ отогрѣли, и когда она увидала у отца странно остолбѣн-

лые глаза и дико оскаленные зубы, тогда поняла, въ чемъ дѣло, и зарыдала.

Старика схоронили за кладбищемъ, потому что онъ жилъ скверно и умеръ безъ покаянiя, а про его дѣвочку немножко позабыли... Правда, не надолго, всего на какой-нибудь мѣсяць, но когда про нее черезъ мѣсяць вспомнили, — ее уже гдѣ было отыскивать.

Можно было думать, что сиротка куда-нибудь убѣжала въ другой городъ, или пошла просить милостыню по деревнямъ. Гораздо любопытнѣе было то, что съ исчезновенiемъ сиротки соединялся другое странное обстоятельство: прежде чѣмъ хватились дѣвочки, было замѣчено, что безъ вѣсти пропасть куда-то калачникъ Селиванъ.

Онъ пропалъ совершенно неожиданно, и притомъ такъ необдуманно, какъ не дѣлалъ еще до него никакой другой бѣглець. Селиванъ рѣшительно ничего ни у кого не унесъ, и даже всѣ давные ему для продажи калачи лежали на его лоткѣ, и тутъ же уцѣлѣли всѣ деньги, которыя онъ выручилъ за то, что продалъ; но самъ онъ домой не возвращался.

И оба эти сироты считались безъ вѣсти пропавшими цѣлыхъ три года.

Вдругъ, однажды, прѣѣзжаетъ съ ярмарки купецъ, которому принадлежалъ давно опустѣлый постоялый дворъ «на розновильѣ» и говоритъ, что съ нимъ было несчастiе: ѣхалъ онъ, да плохо направилъ на гать свою лошадь, и его возъ придавилъ, но его спасъ неизвѣстный бродяжка.

Бродяжка этотъ былъ имъ узнавъ, и оказалось, что это не кто иной, какъ Селиванъ.

Спасенный Селиваномъ купецъ былъ не изъ такихъ людей, которые совсѣмъ нечувствительны къ оказанной имъ услугѣ: чтобы не подлежать на страшномъ судѣ отвѣту за неблагодарность, онъ захотѣлъ сдѣлать добро бродягѣ.

— Я долженъ тебя осчастливить, — сказалъ онъ Селивану: — у меня есть пустой дворъ на розновильѣ, иди туда и сиди въ немъ дворникомъ и продавай овесъ и сѣно, а мнѣ плати всего сто рублей въ годъ аренды.

Селиванъ зналъ, что на шестой верстѣ отъ городка, по зануствѣнной дорогѣ, постоялому двору не мѣсто, и, въ немъ сиючи, никакого заѣзда ждать невозможно; но, однако,

какъ это былъ еще первый случай, когда ему предлагали имѣть свой уголь, то онъ согласился.

Купецъ пустилъ.

## ГЛАВА ПЯТАЯ.

Селиванъ прѣхалъ во дворъ съ маленькой ручной, одноколесной навозицей, въ которой у него мѣстились пожитки, а на нихъ лежала, закинувъ назадъ голову, больная женщина въ жалкихъ лохмотьяхъ.

Люди спросили у Селивана:

— Кто это такая?

Онъ отвѣчалъ:

— Это моя жена.

— Изъ какихъ она мѣстъ родомъ?

Селиванъ кротко отвѣчалъ:

— Изъ Божьихъ.

— Чѣмъ она больна?

— Ногами недужна.

— А отчего она такъ недужаетъ?

Селиванъ, насупясь, буркнулъ:

— Отъ земного холода.

Больше онъ не сталъ говорить ни слова, поднялъ на руки свою немощную калѣку и понесъ ее въ избу.

Словоохотливости и вообще приятной общительности въ Селиванѣ не было; людей онъ избѣгалъ и даже какъ будто боялся, и въ городѣ не показывался, а жены его совсѣмъ никто не видалъ съ тѣхъ поръ, какъ онъ ее сюда привезъ въ ручную навозной тележкѣ. Но съ тѣхъ поръ, когда это случилось, уже прошло много лѣтъ, — молодые люди тогдашняго вѣка уже успѣли состариться, а дворъ въ развалилѣ еще болѣе обветшалъ и развалился, но Селиванъ и его убогая калѣка все жили здѣсь и, къ общему удивленію, платили за дворъ наследникамъ купца какую-то плату.

Откуда же этотъ чудакъ выручалъ все то, что было нужно на его собственные нужды и на то, что слѣдовало платить за совершенно разрушенный дворъ? Всѣ знали, что сюда *никогда* не заглядывалъ *ни одинъ* проѣзжающій и не кормилъ здѣсь своихъ лошадей ни одинъ обозъ, а между тѣмъ Селиванъ хотя жилъ бѣдственно, но все еще не умиралъ съ голода.

Вотъ въ этомъ-то и былъ вопросъ, который, впрочемъ,

не очень долго томить окрестное крестьянство. Скоро все поняли, что Селиванъ знался съ нечистою силою... Эта нечистая сила и устранивала ему довольно выгодныя и для обыкновенныхъ людей даже невозможныя дѣлишки.

Извѣстно, что дьяволъ и его помощники имѣютъ большую охоту дѣлать людямъ всякое зло; но особенно имъ правится вынимать изъ людей души такъ неожиданно, чтобы они не успѣли очистить себя покаяніемъ. Кто изъ людей помогаетъ такимъ пронкамъ, тому вся нечистая сила, то-есть все лѣшіе, водяные и кикиморы, охотно дѣлаютъ разныя одолженія, хотя, впрочемъ, на очень тяжелыхъ условіяхъ. Помогающій чертямъ долженъ самъ за ними послѣдовать въ адъ, — рано или поздно, — но непременно. Селиванъ находился именно на этомъ роковомъ положеніи. Чтобы кое-какъ жить въ своемъ разоренномъ домишкѣ, онъ давно продалъ свою душу нѣсколькимъ чертямъ сразу, а эти съ тѣхъ поръ начали загонять къ нему на дворъ пугашковъ самыми усиленными мѣрами. Назадъ же отъ Селивана не выѣзжалъ никто. Дѣлалось это такимъ образомъ, что лѣшіе, сговорясь съ кикиморами, вдругъ передъ ночью поднимали вьюги и мятели, при которыхъ дорожный человѣкъ растеривался и спѣшилъ спрятаться отъ разгудившейся стихіи куда попало. Селиванъ тогда сейчасъ же и выкидывалъ хитрость: онъ выставялъ огонь на свое окошко, и на этотъ свѣтъ къ нему попадали купцы съ толстыми черезами, дворяне съ потайными шкатулками и поны съ мѣховыми треухами, подложенными во всю ширь денежными бумажками. Это была ловушка. Назадъ изъ Селивановыхъ воротъ уже не было поворота ни одному изъ тѣхъ, кто пріѣхалъ. Куда ихъ дѣвалъ Селиванъ,—про то никому не было извѣстно.

Дѣдушка Илья, договорившись до этого, только проводилъ по воздуху рукой и внушительно произносилъ:

— Сова летить, лушь пливеть —ничего не видно: буря, мятель и... ночь матка—все гладко.

Чтобы не уронить себя во мнѣніи дѣдушки Ильи, я притворялся, будто понимаю, что значитъ «сова летить и лушь пливеть», а понималъ я только одно, что Селиванъ—это какое-то общее пугало, съ которымъ чрезвычайно опасно встрѣтиться... Не дай Богъ этого никому на свѣтѣ.

Я, впрочемъ, старался провѣрить страшные рассказы

про Селивана и отъ другихъ людей, но всё въ одно слово говорили то же самое. Всё смотрѣли на Селивана, какъ на страшное пугало, и всё такъ же, какъ дѣдушка Ильи, строго заказывали мнѣ, чтобы я «дома, въ хоромахъ, никому про Селивана не сказывалъ». По совѣту мельника, я эту мужичью заповѣдь исполнялъ до особаго страшнаго случая, когда я самъ попался въ лапы Селивану.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Зимою, когда въ домѣ вставили двойныя рамы, я не могъ попржекнему часто видѣться съ дѣдушкой Ильей и съ другими мужиками. Меня берегли отъ морозовъ, а они всё остались работать на холоду, причемъ съ однимъ изъ нихъ произошла неприятная исторія, выдвинувшая опять на сцену Селивана.

Въ самъ началъ зимы, племянникъ Ильи, мужикъ Николай, пошелъ на свои именины въ Кромы, въ гости, и не возвратился, а черезъ двѣ недѣли его нашли на опушкѣ у Селиванова лѣса. Николай сидѣлъ на инѣ, опершись бородою на палочку и, повидимому, отдыхалъ послѣ такой сильной усталости, что не замѣтилъ, какъ метель замела его выше колѣнъ снѣгомъ, а лисицы обкусали ему нозь и щеки.

Очевидно, Николай сбился съ дороги, усталъ и замерзъ; но всё знали, что это вышло не просто и не безъ Селивановой вины. Я узналъ объ этомъ черезъ дѣвушекъ, которыхъ было у насъ въ комнатахъ очень много и всё онѣ, большею частію, назывались Аннушками. Была Аннушка большая, Аннушка меньшая, Аннушка рябая и Аннушка круглая, и потомъ еще Аннушка, по прозванію «Шибяенокъ». Эта послѣдняя была у насъ въ своемъ родѣ фельетонистомъ и репортеромъ. Она по своему живому и рѣзвому характеру получила и свою бойкую кличку.

Не Аннушками звали только двухъ дѣвушекъ — Неонилу да Настю, которыя числились на вѣкоторомъ особомъ положеніи, потому что получили особенное воспитаніе въ тогдашнемъ модномъ орловскомъ магазинѣ мадамъ Морозовой, да еще были въ домѣ три побѣгушки-дѣвочки — Оська, Моська и Роська. Крестное имя одной изъ нихъ было Матрена, другой Ранса, а какъ звали по-настоящему Оську —

этого я не знаю. Моська, Оська и Роська находились еще въ малолѣтствѣ, и потому къ нимъ все относилось довольно презрительно. Онѣ еще бѣгали босикомъ и не имѣли права садиться на стульяхъ, а присаживались впръзу, на подножныхъ скамейкахъ. По должности онѣ исполняли разные унизительныя порученія, какъ-то: чистили тазы, выносили умывальныя лаханки, провожали гулять комнатныхъ собачекъ и бѣгали скороходами на посыкахъ за кухонными людьми и на деревню. Въ теперешнихъ помѣщичьихъ домахъ уже нигдѣ нѣтъ такого излишняго многолюдства, но тогда оно казалось необходимымъ.

Все наши дѣвы и дѣвчонки, разумѣется, много знали о страшномъ Селиванѣ, вблизи двора котораго замерзъ мужикъ Николай. По этому случаю теперь вспомнили Селивану все его старыя продѣлки, о которыхъ я прежде и не зналъ. Теперь обнаружилось, что кучеръ Константинъ, ѣдучи одинъ разъ въ городъ за говядиной, слышалъ, какъ изъ окна Селивановой избы неслись жалобныя стоны и слышались слова: «Ой, ручку больно! Ой, пальчикъ рѣжетъ».

Дѣвушка, Аннушка большая, объясняла это такъ, что Селиванъ забралъ къ себѣ, во время метели (но-орловски *куры*), цѣлый господскій возокъ, съ цѣлымъ дворянскимъ семействомъ, и медленно отрѣзая дворянскимъ дѣтямъ пальчикъ за пальчикомъ. Это страшное варварство ужасно меня перепугало. Потомъ башмачнику Ивану приключилось что-то еще болѣе страшное и, вдобавокъ, необъяснимое. Разъ, когда его послали въ городъ за саножнымъ товаромъ, и онъ, позамѣшавшись, возвращался домой темнымъ вечеромъ, то поднялась маленькая метель, — а это составляло первое удовольствіе для Селивана. Онъ сейчасъ же вставалъ и выходилъ на поле, чтобы вѣяться во мглѣ вмѣстѣ съ Игою, дѣшными и кикиморами. И башмачникъ это зналъ и остерегался, но не остерегся. Селиванъ выскочилъ у него передъ самымъ носомъ и загородилъ ему дорогу... Лошадь стала. Но башмачникъ, къ его счастью, отъ природы былъ смѣль и очень находчивъ. Онъ подошелъ къ Селивану, будго съ ласкою, и проговорилъ: «Здравствуй, пожалуйста», а въ это самое время изъ рукава вынулъ его самымъ большимъ и острымъ шиломъ прямо въ животъ. Это единственное мѣсто, въ которое

можно ранить колдуна на-смерть, но Селиванъ спасся тѣмъ, что немедленно обратился въ толстый верстовой столбъ, въ которомъ острый инструментъ башмачника застрялъ такъ крѣпко, что башмачникъ никакъ не могъ его вытащить и долженъ былъ разстаться съ шиломъ, между тѣмъ какъ оно ему было рѣшительно необходимо.

Этотъ послѣдній случай былъ даже обидною насмѣшкою надъ честными людьми и убѣдилъ всѣхъ, что Селиванъ, дѣйствительно, былъ не только великій злодѣй и лукавый колдунъ, но и нахаль, которому нельзя было давать спуска. Тогда его рѣшили проучить строго; но Селиванъ тоже не былъ промахъ и научился новой хитрости: онъ началъ «скидываться», то - есть, при малѣйшей опасности, даже просто при всякой встрѣчѣ, онъ сталъ измѣнять свой человѣческій видъ и у всѣхъ на глазахъ обращаться въ различные одушевленные и неодушевленные предметы. Правда, что, благодаря общему противъ него возбужденію, онъ и при такой ловкости все-таки немножко страдалъ, но искоренить его никакъ не удавалось, а борьба съ нимъ иногда даже принимала немножко смѣшной характеръ, что всѣхъ еще болѣе обижало и злило. Такъ, напримѣръ, послѣ того, когда башмачникъ изо всей силы прокололъ его шиломъ и Селиванъ спасся только тѣмъ, что успѣлъ скинуться верстовымъ столбомъ, нѣсколько человѣкъ видѣли это шило торчавшимъ въ настоящемъ верстовомъ столбѣ. Они пробовали даже его оттуда вытащить, но шило сломалось и башмачнику привезли только одну ничего не стоящую деревянную ручку.

Селиванъ же и послѣ этого ходилъ по лѣсу, какъ будто его даже совсѣмъ и не кололи, и скидывался кабаномъ до такой степени псово, что вѣтъ дубовые жолуди съ удовольствіемъ, какъ будто такой фруктъ могъ приходиться ему по вкусу. Но чаще всего онъ вылѣзалъ подъ видомъ краснаго пѣтуха на свою черную, растрепанную крышу и кричалъ оттуда «ку-ка-реку!» Всѣ знали, что его, разумѣется, занимало не пѣніе «ку-ка-реку», а онъ высматривалъ, не ѣдетъ ли кто-нибудь такой, противъ кого стоило бы подучить лѣснаго и кикимору поднять хорошую бурю и затормозить его до смерти. Словомъ, окрестные люди такъ хорошо отгадывали всѣ его хитрости, что никогда не поддавались злодѣю въ его сѣти, и даже порядкомъ мстили

Селивану за его коварства. Одинъ разъ, когда олъ, скинувшись кабаномъ, встрѣтился съ кузнецомъ Савельемъ, который шелъ пѣшкомъ изъ Кромъ со свадьбы, между ними даже произошла открытая схватка, но кузнецъ остался побѣдителемъ, благодаря тому, что у него, къ счастью, случилась въ рукахъ претяжелая дубина. Оборотень притворился, будто олъ не желаетъ обращать на кузнеца ни малѣйшаго вниманія и, тяжело похрикивая, чавкала жолуди; но кузнецъ проникъ острымъ умомъ его замысль, который состоялъ въ томъ, чтобы пропустить его мимо себя и потомъ напасть на него сзади, сбить съ ногъ и съѣсть вмѣсто жолудя. Кузнецъ рѣшился предупредить бѣду; олъ поднялъ высоко надъ головою свою дубину и такъ треснулъ ею кабана по храпѣ, что тотъ жалобно взвизгнулъ, упалъ и болѣе уже не поднимался. А когда кузнецъ послѣ этого началъ поспѣшно уходить, то Селиванъ опять принялъ на себя свой человѣческій видъ и долго смотрѣлъ на кузнеца со своего крылечка,—очевидно, имѣя противъ него какое-то самое недружелюбное намѣреніе.

Послѣ этой ужасной встрѣчи, кузнеца даже была лихорадка, отъ которой олъ спасся единственно тѣмъ, что пустилъ по вѣтру за окно хинный порошокъ, который ему былъ присланъ изъ горницы для пріема.

Кузнецъ слылъ за человѣка очень разсудительнаго и зналъ, что хина и всякое другое аптечное лѣкарство противъ волшебства ничего сдѣлать не могутъ. Олъ оттергнулся, завязалъ на суровой ниткѣ узелокъ и бросилъ его гнить въ палозную кучу. Этимъ было все кончено, потому что какъ только узелокъ и нитка сгнили, такъ и сила Селивана должна была кончиться. И это такъ и сдѣлалось. Селиванъ послѣ этого случая въ свинью уже никогда болѣе не скидывался, или, по крайней мѣрѣ, съ тѣхъ поръ его никто рѣшительно не встрѣчалъ въ этомъ неопытномъ видѣ.

Съ проказами же Селивана въ образѣ краснаго лѣтуха было еще удачѣе: на него олочился косою мирошникъ Савка, преудалый парень, который дѣйствовалъ всѣхъ предъсмотрительнѣе и ловчѣе.

Будучи посланъ разъ въ городъ на подторжье, олъ ѣхалъ верхомъ на очень длинной и упрямой лошади. Зная такой нравъ своего коня, Савка взялъ съ собою, на всякій случай, потихоньку, хорошее березовое полѣно, которымъ надѣялся

запечатлѣть сувениръ въ бока своего меланхолическаго бупефала. Кое-что въ этомъ родѣ онъ и успѣлъ уже сдѣлать, и настолько переломить характеръ своего коня, что тотъ, потерявъ терпѣніе, сталъ понемножку припрыгивать.

Селиванъ, не ожидая, что Савка такъ хорошо вооруженъ, какъ разъ къ его прѣзду выскочилъ штыхомъ на застрѣху и началъ вертѣться, глазѣть на всѣ стороны да пѣть «ку-ка-реку!» Савка не сробѣлъ колдуна, а, напротивъ, сказалъ ему: «Э, братъ, врешь — не уйдешь», и съ этимъ, недолго думая, такъ ловко швырнуть въ него своимъ полѣномъ, что тотъ даже не допѣлъ до конца своего «ку-ка-реку» и свалился мертвымъ. По несчастію, онъ только упалъ не на улицу, а во дворъ, гдѣ ему ничего не стоило, коснувшись земли, опять принять на себя свой природный человѣческій образъ. Онъ сдѣлался Селиваномъ и, выбѣжавъ, погнался за Савкою, имѣя въ рукѣ то же самое полѣно, которымъ его угостилъ Савка, когда онъ пѣлъ штыхомъ на крышѣ.

По разсказамъ Савки, Селиванъ въ этотъ разъ былъ такъ взбѣшенъ, что Савкѣ могло придтись отъ него очень плохо; но Савка былъ парень сообразительный и отлично зналъ одну пренюлезную штуку. Онъ зналъ, что его лѣнивая лошадь сразу забываетъ о своей лѣни, если ее поворотитъ домой, къ яслямъ. Онъ это и сдѣлалъ. Какъ только Селиванъ, вооруженный полѣномъ, на Савку кинулся, — Савка вразъ повернулъ коня въ обратный путь и скрылся. Онъ прискакалъ домой, не имѣя на себѣ лица отъ страха, и разсказалъ о бывшей съ нимъ странной исторіи только на другой день. И то слава Богу, что заговорилъ, а то боялись, какъ бы онъ не остался нѣмъ навсегда.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Вмѣсто оробѣвшаго Савки былъ наряженъ другой, болѣе смѣлый посоль, который достигъ Кромъ и возвратился назадъ благополучно. Однако и этотъ, совершивъ путешествіе, говорилъ, что ему легче бы сквозь землю провалиться, чѣмъ ѣхать мимо Селиванова двора. То же самое чувствовали и другіе: страхъ сталъ всеобщій; но зато со стороны всѣхъ вообще началось и за Селиваномъ всеобщее усиленное смотрѣніе. Гдѣ бы и чѣмъ бы онъ ни скидывался, его вездѣ постоянно обнаруживали и во всѣхъ видахъ

стремилась пресѣчь его вредное существованіе. Являлся ли Селиванъ у своего двора овицою или телянкомъ, — его все равно узнавали и били, и ни въ какомъ видѣ ему не удавалось укрыться. Даже, когда онъ одинъ разъ выкатился на улицу въ видѣ новаго свѣже-высмоленнаго теляжнаго колеса и легъ на солнцѣ сушиться, то и эта его хитрость была обнаружена, и умные люди разбили колесо на мелкія части такъ, что и бѣлушка, и спицы разлетѣлись въ разные стороны.

Обо всѣхъ этихъ происшествіяхъ, составлявшихъ героическую эпопею моего дѣтства, мною своевременно получались скорыя и самыя достовѣрныя свѣдѣнія. Быстротѣ извѣстій много содѣйствовало то, что у насъ на мельницѣ всегда случалась отбѣнная забѣжная публика, прѣѣзжавшая за помоломъ. Пока мельничные жернова мололи привезенныя ими хлѣбныя зерна, уста помольцевъ еще усердиѣ мололи всяческой вздоръ, а оттуда всѣ любопытныя исторіи приносились въ дѣвичью Мосьюкою и Росьюкою. и потомъ, въ наилучшей редакціи, сообщались мнѣ, а я начиналъ о нихъ думать цѣлыя ночи и создавалъ презанимательныя положенія для себя и для Селивана, къ которому я, несмотря на все, что о немъ слышалъ, — ниталъ въ глубинѣ моей души большое сердечное влеченіе. Я безповоротно вѣрилъ, что настанетъ часъ, когда мы съ Селиваномъ какъ-то необыкновенно встрѣтимся, — и даже полюбимъ другъ друга гораздо болѣе, чѣмъ я любилъ дѣдушку Шлюю, въ которомъ мнѣ не нравилось то, что у него одинъ, именно лѣвый, глазъ всегда немножко смѣялся.

Я никакъ не могъ долго вѣрить, что Селиванъ дѣлаетъ всѣ свои сверхъестественныя чудеса съ злымъ намѣреніемъ къ людямъ, и очень любилъ о немъ думать; и обыкновенно, чуть я начиналъ засыпать, онъ мнѣ снился тихимъ, добрымъ и даже обиженымъ. Я его никогда еще не видалъ и не умѣлъ себѣ представить его лица по искаженнымъ описаніямъ рассказчиковъ, но глаза его я видѣлъ, чуть закрывалъ свои собственные. — Это были большіе глаза, совсѣмъ голубые и предобрые. И пока я спалъ, мы съ Селиваномъ были въ самомъ приятномъ согласіи: у насъ съ нимъ открывались въ лѣсу разныя секретныя норки, гдѣ у насъ было напрятано много хлѣба, масла и теплыхъ дѣтскихъ тулунчиковъ, которые мы доставали, бѣгомъ по-

силы къ извѣстнымъ намъ избамъ по деревнямъ, клани на слуховое окно, стучали, чтобы кто-нибудь выглянуть. и сами убѣгали.

Это были, кажется, самыя прекрасныя сновидѣнія въ моей жизни, и я всегда сожалѣлъ, что съ пробужденіемъ Селиванъ опять дѣлался для меня тѣмъ разбойникомъ, противъ котораго всякій добрый человѣкъ долженъ былъ принимать все мѣры предосторожности. Признаться, я и самъ не хотѣлъ отстать отъ другихъ, и хотя во снѣ я велъ съ Селиваномъ самую теплую дружбу, но на яву я считалъ не лишнимъ обезпечить себя отъ него даже издали.

Съ этою цѣлю я, путемъ не малой лести и другихъ униженій, выпросилъ у ключницы хранившійся у нея въ кладовой старый, очень большой кавказскій кинжалъ моего отца. Я подвязалъ его на кутасъ, который снялъ съ дядинаго гусарскаго кивера, и мастерски спряталъ это оружіе въ головахъ, подъ матрацъ моей постельки. Если бы Селиванъ появился ночью въ нашемъ домѣ, я бы непремѣнно противъ него выступилъ.

Объ этомъ скрытомъ цейхгаузѣ не знали ни отецъ, ни мать, и это было совершенно необходимо, потому что иначе кинжалъ у меня, конечно, былъ бы отобранъ, а тогда Селиванъ могъ помѣшать мнѣ спать спокойно, потому что я все-таки его ужасно боялся. А онъ, между тѣмъ, уже дѣлалъ къ намъ подходы, но наши бойгія дѣвушки его сразу же узнали. Къ намъ въ домъ Селиванъ дерзнулъ появляться, скинувшись большою рыжею крысою. Сначала онъ просто шумѣлъ по ночамъ въ кладовой, а потомъ одинъ разъ спустился въ глубокой, долбленный липовый наполь, на днѣ котораго ставили, покрывая рѣшетомъ, колбасы и другія закуски, собираемыя для приѣма гостей. Тутъ Селиванъ захотѣлъ сдѣлать намъ серьезную домашнюю неприятность,—вѣроятно, въ отплату за тѣ неприятности, какія онъ перенесъ отъ нашихъ мужиковъ. Оборотясь рыжею крысою, онъ вскочилъ на самое дно въ липовый наполь, сдвинулъ каменный гнетокъ, который лежалъ на рѣшетѣ, и съѣлъ все колбасы, но зато назадъ никакъ не могъ вскочить изъ высокой кади. Здѣсь Селивану, по всеѣмъ видимостямъ, никакъ невозможно было избѣжать заслуженной казни, которую вызвалась произвести надъ нимъ самая скорая Аннушка Шибаенокъ. Она явилась для этого съ

цѣлымъ чугуномъ кипятку и съ старою вилкою. Аннушка имѣла такой планъ, чтобы сначала ошиарить оборотня кипяткомъ, а потомъ приколоть его вилкою и выбросить мертвого въ бурьянъ въ расклеванье воронамъ. Но, при исполненіи казни, произошла неловкость со стороны Аннушки круглой, она плеснула кипяткомъ на руку самой Аннушки Шибаенку; та выронила отъ боли вилку, а въ это время крыса укусила ее за палецъ и съ удивительнымъ проворствомъ, по ее же рукаву, выскочила наружу и, произведя общій перепутъ всѣхъ присутствующихъ, сдѣлалась невидимкой.

Родители мои, смотрѣвшіе на это происшествіе обыкновенными глазами, приписывали глупый исходъ травли неловкости нашихъ Аннушекъ; но мы, которые знали тайныя пружины дѣла, знали и то, что тутъ ничего невозможно было сдѣлать лучшаго, потому что это была не простая крыса, а оборотень Селиванъ. Разсказать объ этомъ старшимъ мы, однако, не смѣли. Какъ простосердечный народъ, мы боялись критики и насмѣшекъ надъ тѣмъ, что сами почитали за несомнѣнное и очевидное.

Черезъ порогъ передней Селиванъ перешагнуть не рѣшался ни въ какомъ видѣ, какъ мнѣ казалось, потому, что онъ кое-что зналъ о моемъ княжатѣ. И мнѣ это было и лестно, и досадно, потому что, собственно говоря, мнѣ уже стали утомительны одни толки и слухи, и во мнѣ разгоралось страстное желаніе встрѣтиться съ Селиваномъ лицомъ къ лицу.

Это во мнѣ обратилось, наконецъ, въ томленіе, въ которомъ и прошла вся долгая зима съ ея безконечными вечерами, а съ первыми весенними потоками съ горъ у насъ случилось происшествіе, которое разстроило весь порядокъ жизни и дало волю опаснымъ порывамъ нестерпимыхъ страстей.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Случай былъ неожиданный и печальный. Въ самую весеннюю роствель, когда, по народному выраженію, «служба была тонить», изъ далекаго тетункина имѣнія прискакали верховой съ роковымъ извѣстіемъ объ опасной болѣзни дѣдушки.

Длинный переѣздъ въ такую распутицу былъ сопряженъ

съ большою опасностію; но отца и мать это не остановило, и они пустились въ дорогу немедленно. Ъхать надо было сто верстъ и не иначе, какъ въ простой телѣжкѣ, потому что ни въ какомъ другомъ экипажѣ проѣхать совсѣмъ было невозможно. Телѣгу сопровождали два вершника, съ длинными шестами въ рукахъ. Они ѣхали впередъ и ощупывали дорожные просовы. Я и домъ были оставлены на попеченіе особаго временнаго комитета, въ составъ котораго входили разныя лица по разнымъ вѣдомствамъ. Аннушкѣ большой были подчинены всѣ лица женскаго пола до Оськи и Роськи; но высшій нравственный надзоръ порученъ былъ старостинѣ Дементьевѣ. Интеллигентное же руководство нами—въ разсужденіи наблюденія праздниковъ и дней недѣльных—было ввѣрено діаконскому сыну Аполлиарію Ивановичу, который, въ качествѣ исключеннаго изъ семинаріи ритора, состоялъ при моей особѣ на линіи наставника. Онъ училъ меня латинскимъ склоненіямъ и вообще приготовлялъ къ тому, чтобы я могъ на слѣдующій годъ поступить въ первый классъ орловской гимназіи не совершеннымъ дикаремъ, котораго способны удивить латинская грамматика Блюстина и французская—Ломонда.

Аполлиарій былъ юноша свѣтскаго направленія и собирался поступить въ «приказные» или, по-нынѣшнему говоря, въ писцы—въ орловское губернское правленіе, гдѣ служилъ его дядя, имѣвшій презанимательную должность. Если какой-нибудь становой или исправникъ не исполнялъ какого-нибудь предписанія, то дядю Аполлиарія посылали на одной лошади «нарочнымъ» на счетъ виновнаго. Онъ ѣздилъ, не платя за лошадей денегъ, и, кромѣ того, получалъ съ виновныхъ дары и презенты и видѣлъ разные города и много разныхъ людей разныхъ чиновъ и обычаевъ. Мой Аполлиарій тоже имѣлъ въ виду современемъ достигъ такого счастья, и могъ надѣяться сдѣлать гораздо болѣе своего дяди, потому что онъ обладалъ двумя большими талантами, которые могли быть очень пріятны въ свѣтскомъ обхожденіи: Аполлиарій игралъ на гитарѣ двѣ пѣсни: «Дѣвушка крапивушку жала» и вторую, гораздо болѣе трудную—«Подъ вечеръ осенью ненастной» и, что еще рѣже было въ тогдешнее время въ провинціяхъ,—онъ умѣлъ сочинять прекрасныя стихи дамамъ, за что собственно и былъ выгнанъ изъ семинаріи.

Мы съ Аполлиаріемъ, несмотря на разницу лѣтъ, держались какъ друзья и, какъ прилично вѣрнымъ друзьямъ, мы крѣпко хранили взаимныя тайны. Въ этомъ случаѣ на его долю приходилось немножко меньше, чѣмъ на мою: мои всѣ секреты заключались въ находившемся у меня подъ матрацомъ кинжалѣ, а я обязанъ былъ глубоко таить два вѣренныя мнѣ секрета: первый касался спрятанной въ шкафѣ трубки, изъ которой Аполлиарій курилъ вечеромъ въ печку кисло-сладкіе, бѣлые нѣжнискіе корешки, а второй былъ еще важнѣе — здѣсь дѣло шло о стихахъ, написанныхъ Аполлиаріемъ въ честь нѣкоей «легконосой Пулхеріи».

Стихи были, кажется, очень плохіе, но Аполлиарій говорилъ, что для вѣрнаго о нихъ сужденія необходимо было видѣть, какое они могутъ произвести впечатлѣніе, если ихъ хорошенько, съ чувствомъ прочесть нѣжной и чувствительной женщиной.

Это предполагало большую и даже въ нашѣмъ положеніи непреодолимую трудность, потому что маленькихъ барынь у насъ въ домѣ не было, а барышнямъ взрослымъ, которыя иногда пріѣзжали, Аполлиарію не смѣлъ предложить быть его слушательницами, такъ какъ онъ былъ очень застѣчивъ, а между нашими знакомыми барышнями водились большія насмѣшницы.

Нужда научила Аполлиарія выдумать компромиссъ, — именно декламировать оду, написанную «Легконосой Пулхеріи», передъ нашей дѣвушкой Неонилой, которая усвоила себѣ въ модномъ магазинѣ Морозовой разныя отшлифованныя, городскія манеры и, по соображеніямъ Аполлиарія, должна была имѣть тонкія чувства, необходимыя для того, чтобы почувствовать достоинство поэзіи.

Но малолѣтству моему я боялся подавать своему учителю совѣты въ его поэтическихъ опытахъ, но считалъ его намѣреніе декламировать стихи передъ нивею рискованнымъ. И, разумѣется, судить по себѣ и хотя брать въ соображеніе, что молоденькой Неонилѣ знакомы нѣкоторые предметы городского круга, но едва ли ей можетъ быть понятенъ языкъ высокой поэзіи, какимъ Аполлиарію обращался къ воспѣваемой имъ Пулхеріи. Притомъ въ одѣ къ «Легконосницѣ» были такія восклицанія: «О ты, жестокая!» или «Нечезни съ глазъ моихъ!» и тому подобныя. Неонила

отъ природы имѣла робкій и застѣнчивый характеръ, и я боялся, что она приметъ это на свой счетъ и непременно раслачется и уѣзжитъ.

Но всего хуже то, что, при обыкновенномъ строгомъ домашнемъ порядкѣ нашей домашней жизни, вся эта задуманная риторомъ поэтическая репетиція была совершенно невозможна. Ни время, ни мѣсто, ни даже всѣ другія условія не благопріятствовали тому, чтобы Неонила слушала стихи Аполлинарія и была ихъ первою цѣнительницею. Однако, безначаліемъ, которое водворилось у насъ съ отъѣздомъ родителей, все измѣнилось, и риторъ захотѣлъ этимъ воспользоваться. Теперь мы, забывъ всякую разность своихъ положеній, ежедневно играли по вечерамъ въ короли, а Аполлинарій даже курилъ въ комнатахъ свои нѣжинскіе корешки и садился въ столовой въ отцовскомъ креслѣ, что меня немножко обижало. Кромѣ того, по его же настоянію, у насъ нѣсколько разъ была затѣяна игра въ жмурки, причемъ мнѣ и брату набили спянки. Потомъ мы играли въ прятки, и разъ даже былъ устроенъ формальный фестиваль, съ большимъ угощеніемъ. Кажется, все это дѣлалось «на шереметевскій счетъ», какъ въ тогдашнее время бражничали многіе неосмотрительные кутилы, по гибельному пути которыхъ направились и мы, увлекаемые риторомъ. Мнѣ до сихъ поръ неизвѣстно, отъ кого тогда были предложены собранію цѣлый мѣшечекъ самыхъ зрѣлыхъ лѣсныхъ орѣховъ, добытыхъ изъ мышиныхъ норокъ (гдѣ обыкновенно бывають только орѣхи самаго высшаго сорта). Кромѣ орѣховъ были три свертка сѣрой бумаги съ желтыми паточными груздиками, подсолнухами и засмоквенной грушей. Последняя очень прочно липла къ рукамъ и не скоро отмывалась.

Такъ какъ этотъ послѣдній фруктъ пользовался особымъ вниманіемъ, то груши давались только въ розыгрышъ на фанты. Моська, Оська и Роська, по существу своему своему ничтожеству, смоквъ вовсе не получали. Въ фантахъ участвовали Аннушка и я, да мой наставникъ Аполлинарій, который оказался очень ловкимъ выдумщикомъ. Происходило все это въ гостиной комнатѣ, гдѣ бывало сидѣли только очень почетные гости. И тутъ-то, въ чаду увлеченія веселостями, въ Аполлинарія вошелъ какой-то отчаянный духъ, и онъ задумалъ еще болѣе дерзкое предпріятіе. Онъ захо-

тѣлъ декламировать свою оду въ грандіозной и даже ужасоующей обстановкѣ, при которой должны были подвергнуться самому высшему напряженію самыя сильныя нервы. Онъ началъ всѣхъ насъ подговаривать, чтобы отпираться всѣмъ вмѣстѣ въ будущее воскресенье за ландышами въ Селивановъ лѣсъ. А вечеромъ, когда мы съ нимъ ложились спать, онъ мнѣ открылся, что ландыши тутъ одинъ только предлогъ, а главная цѣль въ томъ, чтобы прочитать стихи въ самой ужасной обстановкѣ.

Съ одной стороны будетъ дѣйствовать страхъ отъ Селивана, а съ другой — страхъ отъ ужасныхъ стиховъ... Какое это выйдетъ и можно ли это выдержать?

Представьте же себѣ, что мы на это отважились.

Въ оживленности, которою всѣ мы были охвачены въ этотъ достопамятный весенній вечеръ, намъ представлялось, что всѣ мы смѣлы и можемъ совершить отчаянную штуку безопасно. Въ самомъ дѣлѣ, насъ будетъ много, и притомъ я возьму, разумѣется, свой огромный кавказскій книжаль.

Признаться, мнѣ очень хотѣлось, чтобы и всѣ другіе вооружились сообразно своей силѣ и возможности, но я ни у кого не встрѣтилъ къ этому должнаго вниманія и готовности. Аполлинарій бралъ только чубукъ да гитару, а съ дѣвушками ѣхали таганы, сковороды, котелки съ яйцами и чугунокъ. Въ чугунокѣ предполагалось варить кашу съ саломъ, а на сковородѣ жарить яичницу, и въ этомъ смелѣ они были прекрасны; но въ смелѣ обороны, на случай возможныхъ предѣловъ со стороны Селивана, рѣшительно ничего не значили.

Впрочемъ, но правдѣ сказать, я былъ и еще кое за чтодоволенъ моими компаньонами, а именно — я не чувствовалъ съ ихъ стороны того вниманія къ Селивану, какимъ я самъ былъ проникнутъ. Они и боялись его, но какъ-то легкомысленно, и даже рисковали критически надъ нимъ подтрунивать. Одна Аннушка говорила, что она возьметъ пирожную скалку и скалкой его убьетъ, а Шибасюкъ смѣялась, что она его загрызть можетъ, и при этомъ показывала свои бѣлые-пребѣлые зубы и перекусывала ими кусочекъ проводки. Все это какъ-то не солидно: всѣхъ превознесъ ритърь. Онъ совсѣмъ отвергалъ существованіе Селивана, — говорилъ, что его даже никогда не было и что онъ

просто есть изображеніе фантазіи, такое же, какъ Пифонъ, Церберъ и тому подобное.

Тогда я первый разъ видѣлъ, до чего способенъ человекъ увлекаться въ отрицаніяхъ! Къ чему же тогда вся риторика, если она позволяетъ поставить на одну ступень вѣроятность баснословнаго Пифона съ Селиваномъ, дѣйствительное существованіе котораго подтверждалось множественномъ очевидныхъ событій.

Я этому соблазну не поддаюсь и сберегъ мою вѣру въ Селивана. Даже болѣе того, я вѣрилъ, что риторъ за свое невѣріе будетъ непременно наказанъ.

Впрочемъ, если не строго отнестись къ этимъ философіямъ, то загѣнная поѣздка въ лѣсъ обѣщала много веселости, и никто не хотѣлъ или не могъ заставить себя приготовиться къ явленіямъ другого сорта. А межъ тѣмъ благоразуміе заставляло весьма поостеречься въ этомъ проклятомъ лѣсу, гдѣ мы будемъ, такъ сказать, въ самой части у звѣря.

Всѣ думали только о томъ, какъ имъ весело будетъ разбѣгаться по лѣсу, куда всѣ боятся ходить, а они не боятся. Размышляли о томъ, какъ мы пройдемъ насквозь весь опасный лѣсъ, аукаясь, перекликаясь и перепрыгивая ямки и овражки, въ которыхъ долѣвается послѣдній сиѣгъ, а и не подумали, будетъ ли все это одобрено, когда возвратится наше высшее начальство. Впрочемъ, мы за то имѣли въ виду изготовить на туалетъ мамы два большіе букета изъ лучшихъ ландышей, а изъ остальныхъ сдѣлать душистый перегонъ, который во все предстоящее лѣто будетъ давать превосходное умыванье отъ загара.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Нетерпѣливо дождавшись воскресенья, мы оставили въ домѣ на хозяйствѣ старостиху Дементьевну, а сами отправились къ Селиванову лѣсу. Вся публика шла иѣшкомъ, держась болѣе просохшихъ высокихъ рубежей, гдѣ уже зеленѣла первая изумрудная травка, а по дорогѣ слѣдовалъ обозъ, состоящій изъ телѣги, запряженной старою буланною лошадыю. На телѣгѣ лежала Аполлинаріева гитара и взятыя, на случай ненастья, дѣвичьи кацавейки. Правиль лошадью я, а назади, въ качествѣ пассажировъ, помѣщались Роська и другія дѣвчонки, изъ которыхъ одна бережно везла

въ кофляхъ кошелочку съ яйцами, а другая имѣла общее попеченіе о различныхъ предметахъ, но наиболѣе поддерживала рукою мой огромный кинжалъ, который былъ у меня подвѣшенъ черезъ плечо на старомъ гусарскомъ шнурѣ отъ дядина этишкета и болтался изъ стороны въ сторону, значительно затрудняя мои движенія и отрывая мое вниманіе отъ управленія лошадью.

Дѣвушки, идучи по рубежу, пѣли: «Раснашу-ль я пашеньку, посяю-ль я ленъ-конопель», а риторъ имъ вторилъ басомъ.

Попадавшіеся намъ навстрѣчу мужики кланялись и спрашивали:

— Куда подвнялись?

Аннушки имъ отвѣчали:

— Идемъ Селиванку въ плѣнъ брать.

Мужики помахивали головами и говорили:

— Угорѣлыя!

Мы и дѣйствительно были въ какомъ-то чаду. насъ охватила неудержимая полудѣтская потребность бѣгать, шѣть, смѣяться и дѣлать все очертя голову.

А между тѣмъ часть ѣзды по скверной дорогѣ начать на меня дѣйствовать неблагоприятно, — старый буланый миѣ надоѣлъ и во мгнѣ охладѣла охота держать въ рукахъ веревочныя вожжи; но невдалекѣ, на горизонтѣ, засинѣлъ Селивановъ лѣсъ, и все ожило. Сердце забилося и зануло, какъ у Вара при входѣ въ Тевтобургскія дѣбри. А въ это же время изъ-подъ талой межи выскочилъ заяцъ и, пробѣжавъ черезъ дорогу, понесся по полю.

— Фу! чтобъ тебѣ пусто было! — закричали велѣдь ему Аннушки.

Онѣ все знали, что встрѣча съ зайцемъ къ добру никогда не бываетъ. И я тоже струсилъ и схватился за свой кинжалъ, но такъ увлекся заботами объ извлеченіи его изъ заржавѣвшихъ ноженъ, что не замѣтилъ, какъ выпустилъ изъ рукъ вожжи и, съ совершенною для себя неожиданностію, очутился подъ опрокинувшеюся телѣгою, которую потянувшия на рубежъ за травкою буланый повернулъ самымъ правильнымъ образомъ, такъ что все четыре колеса очутились вверху, а я съ Роськой и со всею нашею провизіею явились подъ спудомъ...

Это несчастіе съ нами случилось моментально, но по-

слѣдствія его были неисчислимы: гитара Аполлиарія была разломана вдребезги, а разбитыя яйца текли и заклеивали намъ лица своимъ содержимымъ. Вдобавокъ Роська ревъла.

Я былъ всемѣрно подавленъ и сконфуженъ и до того растерялся, что даже желалъ, чтобы насъ лучше совсѣмъ не освобождали; но я уже слышалъ голоса всѣхъ Аннушекъ, которыя, трудясь надъ нашимъ освобожденіемъ, тутъ же, очень выгодно для меня, разъяснили причину нашего паденія. Я и буланый были тутъ ни въ чемъ непричинны: все это было дѣломъ Селивана.

Это была первая хитрость, чтобы не допустить насъ къ его лѣсу; но, однако, она никого сильно не испугала, а, напротивъ, только привела всѣхъ въ большое негодованіе и увеличила рѣшимость во что бы то ни стало исполнить всю задуманную нами программу.

Нужно было только поднять телѣгу, поставить насъ на ноги, смыть съ насъ гдѣ-нибудь у ручейка неприятную яичную слизь и посмотреть, что уцѣлѣло послѣ нашего крушенія изъ вещей, взятыхъ для дневного продовольствія нашей многоличной группы.

Все это и было кое-какъ сдѣлано. Меня и Роську вымыли у ручья, который бѣжалъ подъ самымъ Селивановымъ лѣсомъ, и когда глаза мои раскрылись, то свѣтъ мнѣ показался очень невзрачнымъ. Розовыя платья дѣвочекъ и мой новый бешметъ изъ голубого кашемира были никуда не годны: покрывшія ихъ грязь и яйца совсѣмъ ихъ испортили и не могли быть отмыты безъ мыла, котораго мы съ собой не захватили. Чугунъ и сковорода были расколоты, отъ тагана валялись однѣ ножки, а отъ гитары Аполлиарія остался одинъ грифъ съ закрутившимися на немъ струнами. Хлѣбъ и другая сухая провизія были въ грязи. По меньшей мѣрѣ намъ угрожалъ цѣлоденный голодъ, если не считать ни во что другихъ ужасовъ, которые чувствовались во всемъ окружающемъ. Въ долину надъ ручьемъ свистѣлъ вѣтеръ, а черный, еще не убранный зеленою лѣсъ шумѣлъ и зловѣще махалъ на насъ своими прутьями.

Настроеніе духа во всѣхъ насъ значительно понизилось, — особенно въ Роськѣ, которая озябла и плакала. Но, однако, мы все-таки рѣшили вступить въ Селиваново царство, а дальше пусть будетъ, что будетъ.

Во всякомъ случаѣ, одно и то же приключеніе безъ какой-нибудь перемѣны не могло повториться.

### ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Всѣ перекрестились и начали входить въ лѣсъ. Входили робко и нерѣшительно, но каждый скрывалъ отъ другихъ свою робость. Всѣ только уговаривались какъ можно чаще перекликаться. Но, впрочемъ, не оказалось и большой нужды въ перекличкѣ, потому что никто далеко вглубь не ушелъ, всѣ мы какъ будто случайно безпрестанно скучивались къ краю и тянулись веревочкой вдоль опушки. Одинъ Анолинарій оказался смѣлѣе другихъ и нѣсколько углубился въ чащу: онъ заботился найти самое глухое и странное мѣсто, гдѣ его декламация могла бы произвести какъ можно болѣе ужасное впечатлѣніе на слушательницъ; но зато, чуть только Анолинарій скрылся изъ вида, лѣсъ вдругъ огласился его пронзительнымъ, неистовымъ крикомъ. Никто не могъ себѣ вообразить, какая опасность встрѣтила Анолинарія, но всѣ его покинули и бросились бѣжать вонъ изъ лѣса на поляну, а потомъ, не оглядываясь назадъ, — дальше, по дорогѣ къ дому. Такъ бѣжали всѣ Аннуики и всѣ Моськи, а за ними, продолжая кричать отъ страха, пронесся и самъ педагогъ, а мы съ маленькимъ братомъ остались одни.

Изъ всей нашей компаніи не осталось никого: насъ покинули не только всѣ люди, но безчеловѣчному примѣру людей послѣдовала и лошадь. Перенуганная ихъ крикомъ, она замогала головою и, повернувъ прочь отъ лѣса, помчалась домой, разбросавъ по ямамъ и рытвинамъ все, что еще оставалось до сихъ поръ въ телѣжкѣ.

Это было не отсутствіе, а полное и самое позорное бѣгство, потому что оно сопровождалось не только потерей обоза, но и утратою всего здраваго смысла, причемъ мы, дѣти, были кинуты на произволъ судьбы.

Богъ знаетъ, что намъ довелось бы испытать въ нашемъ безпомощномъ сиротствѣ, которое было тѣмъ опаснѣе, что мы одни дороги домой найти не могли и наша обувь, состоявшая изъ мягкихъ козловыхъ банмачковъ на тонкой рантовой подшивкѣ, не представляла удобства для перехода въ четыре версты по сырымъ тропинкамъ, на которыхъ еще во многихъ мѣстахъ стояли холодныя лужи. Въ до-

вершеніе бѣды, прежде чѣмъ мы съ братомъ успѣли себѣ представить вообразить весь ужасъ нашего положенія, по лѣсу что-то зарокотало, и потомъ съ противоположной стороны отъ ручья на насъ дунуло и потянуло холодной влагой.

Мы поглядѣли за лощину и увидали, что съ той стороны, куда лежитъ нашъ путь и куда позорно бѣжала наша свита, неслась по небу огромная дождевая туча съ весеннимъ дождемъ и съ первымъ весеннимъ громомъ, при которомъ молодыя дѣвушки умываются съ серебряной ложечки, чтобы самими стать бѣлѣй серебра.

Видя себя въ такомъ отчаянномъ положеніи, я готовъ былъ расплакаться, а мой маленькій братъ уже плакалъ. Онъ весь поспинѣлъ и дрожалъ отъ страха и холода и, сложивъ головою подъ кустикъ, жарко молился Богу.

Богъ, кажется, внявъ его дѣтской мольбѣ, и намъ было послано невидимое спасеніе. Въ ту самую минуту, когда прогремѣлъ громъ и мы теряли послѣднее мужество, въ лѣсу за кустами послышался трескъ и изъ-за густыхъ вѣтвей рослаго орѣшника выглянуло широкое лицо незнакомаго намъ мужика. Лицо это показалось намъ до такой степени страшнымъ, что мы вскрикнули и стремглавъ бросились бѣжать къ ручью.

Не помня себя, мы перебѣжали лощину, кувыркомъ слѣтѣли съ мокраго, осыпавшагося бережка и прямо очутились по-поясъ въ мутной водѣ, между тѣмъ какъ ноги наши до коленъ увязли въ тинѣ.

Бѣжать дальше не было никакой возможности. Ручей дальше былъ слишкомъ глубокъ для нашего маленькаго роста, и мы не могли надвѣяться перейти черезъ него, а притомъ по его струямъ теперь страшно сверкали зигзаги молній — они трепетали и вились какъ огненные змѣи и точно прятались въ прошлогоднихъ оставшихся водоросляхъ.

Очутясь въ водѣ, мы схватили другъ друга за руки и стали въ оцѣпенѣніи, а сверху на насъ уже падали тяжелыя капли поливнаго дождя. Но это оцѣпенѣніе и сохранило насъ отъ большой опасности, которой мы никакъ бы не избѣжали, если бы сдѣлали еще хотя одинъ шагъ далѣе въ воду.

Мы легко могли поскользнуться и упасть, но, къ счастью, насъ обвили двѣ черныя, жилистые руки — и тотъ

самый мужикъ, который выглянулъ на насъ страшно изъ орѣшника, ласково проговорилъ:

— Эхъ, вы, глупые ребята, куда залѣзли!

И съ этимъ онъ взялъ и понесъ насъ черезъ ручей.

Выйдя на другой берегъ, онъ опустилъ насъ на землю, снялъ съ себя коротенькую свитку, которая была у него застегнута у ворота круглою мѣдною пуговкою, и обтеръ этою свиткою наши мокрыя ноги.

Мы на него смотрѣли въ это время совершенно потерянно и чувствовали себя вполне въ его власти, но чудное дѣло—черты его лица въ нашихъ глазахъ быстро измѣнялись. Въ нихъ мы уже не только не видѣли ничего страшнаго, но, напротивъ, лицо его намъ казалось очень добрымъ и приятнымъ.

Это былъ мужикъ плотный, коренастый, съ просѣдью въ головѣ и въ усахъ,—борода комкомъ и тоже съ просѣдью, глаза живые, быстрые и серьезные, но въ устахъ что-то близкое къ улыбкѣ.

Снявъ съ нашихъ ногъ, насколько могъ, грязь и тину полою своей свитки, онъ даже совѣмъ улыбнулся и опять заговорилъ:

— Вы того... ничего... не пугайтесь...

Съ этимъ онъ оглянулся по сторонамъ и продолжалъ:

— Ничего; сейчасъ большой дождь пойдетъ! (Онъ уже шелъ и тогда).—Вамъ, ребяташки, иѣшкомъ не дойти.

Мы въ отвѣтъ ему только молча плакали.

— Ничего, ничего, не голосите, я васъ доведу на себѣ!—заговорилъ онъ и утеръ своею ладонью заплаканное лицо брата, отчего у того сейчасъ же показались на лицѣ грязныя полосы.

— Вонъ ишь, какія мужичьи руки-то грязныя,—сказалъ нашъ избавитель и провелъ еще разъ по лицу брата ладонью въ другую сторону, — отчего грязь не убавилась, а только получила раступовку въ другую сторону.

— Вамъ не дойти... И васъ поведу, да не дойти, и въ грязи черевички \*) спадуть.

— Умѣете ли верхомъ ѣздить?—заговорилъ снова мужикъ.

Я взялъ смѣлость проронить слово и отвѣтилъ:

— Умѣю.

\*) Башмаки—по-орловски черевички.

— А умѣешь, то и ладно!—молвилъ онъ и въ одно мгновеніе вскинулъ меня на одно плечо, а брата — на другое, велѣлъ намъ взяться другъ съ другомъ руками за его затылокъ, а самъ покрыть насъ своею свиткою, прижалъ къ себѣ наши колѣна и понесъ насъ, скоро и широко шагая по грязи, которая быстро растворялась и чавкала подъ его твердо ступавшими ногами, обутыми въ большіе лапти.

Мы сидѣли на его плечахъ, покрытые его свитою. Это, должно-быть, выходила пребольшая фигура, по намъ было удобно: свита замочла отъ ливня и залубенѣла такъ, что намъ подъ нею и сухо, и тепло было. Мы покачивались на плечахъ нашего носильщика какъ на верблюдѣ и скоро впали въ какое-то каталептическое состояніе, а пришли въ себя у родника, на своей усадьбѣ. Для меня лично это былъ настоящій глубокій сонъ, изъ котораго пробужденіе наступало не разомъ. Я помню, что насъ разворачивалъ изъ свиты этотъ самый мужикъ, котораго теперь окружали всѣ наши Аннушки, и всѣ онѣ вырывали насъ у него изъ рукъ и при этомъ самого его за что-то немилосердно бранили, и свитку его, въ которой мы были имъ такъ хорошо бережены, бросили ему съ величайшимъ презрѣніемъ на землю. Кромѣ того, ему еще угрожали приѣздомъ моего отца и тѣмъ, что онѣ сейчасъ сбѣгаютъ на деревню, позовутъ съ цѣнами бабъ и мужиковъ и пустятъ на него собакъ.

Я рѣшительно не понималъ причины такой жестокой несправедливости, и это было неудивительно, потому что дома у насъ, во всемъ господствовавшемъ теперь временномъ правленіи, былъ образованъ заговоръ, чтобы намъ ничего не открывать о томъ, кто былъ этотъ человѣкъ, которому мы были обязаны своимъ спасеніемъ.

— Ничѣмъ вы ему не обязаны,—говорили намъ наши охранительницы.—а, напротивъ, это онъ-то все и надѣлалъ.

По этимъ словамъ я тотчасъ же догадался, что насъ спасъ не кто иной, какъ самъ *Селиванъ!*

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Оно такъ и было. На другой день, въ виду возвращенія родителей, намъ это открыли и взяли съ насъ клятву, чтобы мы ни за что не говорили отцу и матери о происшедшей съ нами исторіи.

Въ тѣ времена, когда водились крѣпостные люди, иногда

случалось, что помещичьи дѣти питали къ крѣпостной прислугѣ самыя вѣжныя чувства и крѣпко хранили ихъ тайны. Такъ было и у насъ. Мы даже покрывали, какъ умѣли, грѣхи и проступки «своихъ людей» передъ родителями. Такія отношенія упоминаются во многихъ произведеніяхъ, гдѣ описывается помещичій бытъ того времени. Что до меня, то мнѣ наша дѣтская дружба съ нашими бывшими крѣпостными до сихъ поръ составляетъ самое пріятное и самое теплое воспоминаніе. Черезъ нихъ мы знали всѣ пужды и всѣ заботы бѣдной жизни ихъ родныхъ и друзей на деревнѣ и учились *жалить народъ*. Но этотъ добрый народъ, къ сожалѣнію, самъ не всегда былъ справедливъ и иногда былъ способенъ для очень неважныхъ причинъ бросить на ближняго темную тѣнь, не заботясь о томъ, какое это можетъ имѣть вредное вліяніе. Такъ поступалъ «народъ» и съ Селиваномъ, объ истинномъ характерѣ и правилахъ котораго не хотѣли знать ничего основательнаго, но смѣло, не боясь погрѣшнить передъ справедливостію, распространили о немъ слухи, сдѣлавшіе его для всѣхъ *пугаломъ*. И, къ удивленію, все, что о немъ говорили, не только казалось вѣроятнымъ, но даже имѣло какіе-то видимые признаки, по которымъ приходилось думать, что Селиванъ въ самомъ дѣлѣ человекъ дурной и что вблизи его уединеннаго жилища происходятъ странныя злодѣйства.

То же самое произошло и теперь, когда насъ брали тѣ, на которыхъ состояла обязанность охранять насъ: они не только ввалили всю вину на Селивана, который снасъ насъ отъ непогоды, но даже взвели на него новую напасть. Анолинарій и всѣ Аннушки рассказали намъ, что когда Анолинарій замѣтилъ въ лѣсу хорошенькій холмъ, съ котораго ему казалось удобно декламировать,—онъ побѣжалъ къ этому холму черезъ лоцинку, засыпанную прошлогоднимъ увядшимъ древеснымъ листомъ, но здѣсь споткнулся на что-то мягкое. Это «мягкое» повернулось подъ ногами Анолинарія и заставило его упасть, а когда онъ сталъ вставать, то увидалъ, что это трупъ молодой крестьянской женщины. Онъ разсмотрѣлъ, что трупъ былъ въ чистомъ бѣломъ сарафанѣ, съ краснымъ шнуромъ и... съ перерѣзан-нымъ горломъ, изъ котораго лилась кровь...

Отъ такой ужасной неожиданности, конечно, можно было

и перепугаться. и закричать, -- какъ онъ и сдѣлалъ; но вотъ что было непонятно и удивительно: Аполлинарій, какъ я рассказываю. былъ отъ всѣхъ другихъ въ отдаленіи, и одинъ споткнулся о трупъ убитой. но всѣ Аннушки и Роськи клялись и божились, что онѣ тоже *видѣли* убитую...

— Иначе, говорили онѣ, — вы развѣ бы такъ испугались?

И я о сю пору увѣренъ, что онѣ не лгали, что онѣ были глубоко увѣрены въ томъ, что видѣли въ Селивановомъ лѣсу убитую бабу. въ чистомъ крестьянскомъ уборѣ, съ краснымъ шитьемъ и съ перерѣзаннымъ горломъ, изъ котораго струилась кровь... Какъ это могло случиться?

Такъ какъ я пишу не вымыселъ, а то, что дѣйствительно было, то долженъ здѣсь остановиться и примолвить, что случай этотъ такъ и остался навсегда необъяснимымъ въ домѣ нашемъ. Убитую и лежавшую, по словамъ Аполлинарія, подъ листомъ въ ямкѣ женщину не могъ видѣть никто, кромѣ Аполлинарія, ибо никого, кромѣ Аполлинарія, здѣсь не было. Между тѣмъ всѣ клялись, что всѣ видѣли, точно эта мертвая бабу въ одно мгновеніе ока проявилась на всѣхъ мѣстахъ подъ глазами у каждаго. Кромѣ того, видѣли ли въ дѣйствительности такую женщину и Аполлинарій? Едва ли это было возможно, потому что дѣло это происходило въ самую осень, когда еще и снѣгъ не вездѣ стаялъ. Деревянный листъ лежалъ подъ снѣгомъ съ *осени*, а между тѣмъ Аполлинарій видѣлъ трупъ въ чистомъ бѣломъ уборѣ, съ шитьемъ, и кровь изъ раны еще струилась... Ничего такого въ этомъ видѣ положительнаго не могло быть, но между тѣмъ всѣ крестились и клялись, что видѣли бабу, какъ разъ такъ, какъ сказано. И всѣ постѣ боялись ночью спать, и всѣмъ страшно было, точно всѣ мы сдѣлали преступленіе. Вскорѣ и я получилъ убѣжденіе, что мы съ братомъ тоже видѣли зарѣзанную бабу. Тутъ у насъ началась всеобщая боязнь, окончившаяся тѣмъ, что все дѣло открылось родителямъ, а отецъ написалъ письмо исправнику — и тотъ пріѣзжалъ къ намъ съ предлинной саблей и всѣхъ разспрашивалъ по секрету въ отцовскомъ кабинетѣ. Аполлинарія исправникъ призывалъ даже два раза и во второй разъ дѣлалъ ему такое сильное внушеніе, что у того, когда онъ вышелъ, оба уха горѣли какъ въ огнѣ и изъ одного изъ нихъ даже шла кровь.

Это мы тоже *все видели*.

Но какъ бы то ни было, мы нашими розсказнями причинили Селивану много горя: его обыскивали, осматривали весь его лѣсъ и самого его содержали долгое время подъ карауломъ. но ничего подозрительнаго у него не нашли и слѣдовъ видѣнной нами убитой женщины тоже никакихъ не оказалось. Селивановъ опять вернулся домой. но это ему не помогло въ общественномъ мнѣнн: все съ этихъ поръ знали, что онъ несомнѣнный, хотя и неуловимый злодѣй, и не хотѣли имѣть съ нимъ ровно никакого дѣла. А меня, чтобы я не подвергался усиленному воздѣйствію поэтическаго элемента, отвезли въ «благородный пансіонъ», гдѣ я и началъ усваивать себѣ общеобразовательныя науки, въ полной безмятежности, вплоть до приближенія рождественскихъ праздниковъ, когда мнѣ настало время ѣхать домой опять непременно мимо Селиванова двора и видѣть въ немъ собственными глазами большіе страхи

## ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Дурная репутація Селивана давала мнѣ большой апломбъ между моими пансіонскими товарищами, съ которыми я дѣлился моими свѣдѣніями объ этомъ странномъ человѣкѣ. Изъ всехъ моихъ пансіонерскихъ сверстниковъ ни одинъ еще не переживалъ такихъ страшныхъ опущеній, какими я могъ похвастаться, и теперь, когда мнѣ опять предстояло проѣхать мимо Селивана,—къ этому никто не отнесся безучастно и равнодушно. Напротивъ, большинство товарищей меня сожалѣли и прямо говорили, что они не хотѣли бы быть на моемъ мѣстѣ, а два или три смѣльчака мнѣ завидовали и хвалились, что они бы очень хотѣли встрѣтиться лицомъ къ лицу съ Селиваномъ. Но двое изъ этихъ были записные хвастушники, а третій могъ никого не бояться, потому что, по его словамъ, у его бабушки въ старинномъ венеційскомъ кольцѣ былъ «таусинный камень», съ которымъ къ человѣку «никакая бѣда неприступна» \*). У насъ же въ семьѣ такой драгоценности не

\*) «Таусинный камень» или «таусень» — свѣтлый сафиръ съ отѣпкомъ *наклонною перо*, въ старину считался спасительнымъ талисманомъ. У Гюзнана былъ такой талисманъ тоже въ кольцѣ или, по-старинному, въ «папалкѣ». Папалка золотная жуковинною (перстень), а въ ней камень *таусень*, а въ томъ мѣстѣ и какъ бы пузырина зрится.

было, да и притомъ я долженъ былъ совершить мое рождественское путешествіе не на своихъ лошадяхъ, а съ тетушкой, которая какъ разъ передъ святками продала домъ въ Орлѣ и, получивъ за него тридцать тысячъ рублей, ѣхала къ намъ, чтобы тамъ въ нашихъ краяхъ купить давно приторгованное для нея моимъ отцомъ имѣніе.

Къ досадѣ моей, сборы тетушки цѣлые два дня задерживались какими-то важными дѣловыми обстоятельствами, и мы выѣхали изъ Орла какъ разъ утромъ въ рождественскій сочельникъ.

Ѣхали мы въ просторной, рогожной троечной кибиткѣ, съ кучеромъ Спиридономъ и молодымъ лакеемъ Борискою. Въ экипажѣ помѣщались тетушка, я, мой двоюродный братъ, маленькія кузины и няня—Любовь Тимоѣевна.

На порядочныхъ лошадяхъ, при хорошей дорогѣ, до нашей деревеньки отъ Орла можно было доѣхать въ пять или шесть часовъ. Мы пріѣхали въ Кромы въ два часа и остановились у знакомаго купца, чтобы напиться чаю и покормить лошадей. Такая остановка у насъ была въ обычаѣ, да ее требовалъ и туалетъ моей маленькой кузины, которую еще пеленали.

Погода была хорошая, близкая почти къ оттепели; но пока мы кормили лошадей, стало слегка морозить и потомъ «закурило», т. е. помело по землѣ мелкимъ снѣжкомъ.

Тетушка была въ раздумьѣ: переждать ли это, или, напротивъ, поспѣшить, ѣхать скорѣе, чтобы успѣть добраться къ намъ домой ранѣе, чѣмъ можетъ разыгратъя непогода.

Проѣхать оставалось съ небольшимъ двадцать верстъ. Кучеръ и лакей, которымъ хотѣлось встрѣтить праздникъ съ родными и друзьями, увѣряли, что мы успѣемъ доѣхать благополучно—лишь бы только не медлить и выѣзжать скорѣе.

Мои желанія и желанія тетушки тоже вполне отвѣчали тому, чего хотѣли Спиридонъ и Бориска. Никто не хотѣлъ встрѣтить праздникъ въ чужомъ домѣ, въ Кромахъ. Притомъ же тетушка была недовѣрчива и мнительна, а съ нею теперь была такая значительная сумма денегъ, помѣщавшаяся въ краснаго дерева шкатулочкѣ, закрытой чехломъ изъ толстаго зеленаго фриза.

Ночевать съ такимъ денежнымъ богатствомъ въ чужомъ

домѣ тетушкѣ казалось очень не безопаснымъ, и она рѣшилась неслушаться совѣта нашихъ вѣрныхъ слугъ.

Съ небольшимъ въ три часа кибитка наша была запряжена и мы выѣхали изъ Кромъ по направленію къ раскольницкой деревнѣ Колчевѣ; но едва лишь переѣхали по льду черезъ рѣку Крому, какъ почувствовали, что намъ какъ бы вдругъ не достало воздуха, чтобы дышать полною грудью. Лошади бѣжали шибко, пофыркивали и мотали головами.—это составляло вѣрный признакъ, что и онѣ тоже испытывали недостатокъ воздуха. Между тѣмъ экипажъ несея особенно легко, точно его сзади подпихивали. Вѣтеръ былъ намъ взадъ и какъ бы гналъ насъ съ усиленною скоростію къ какой-то предначертанной межѣ. Скоро, однако, бойкій слѣдъ по пути сталъ «закататься»; по дорогѣ пошли уже мягкіе снѣговые переносы,—они начали встрѣчаться все чаще и чаще, наконецъ, вскорѣ прежняго бойкаго слѣда сдѣлалось вовсе не видно.

Тетушка тревожно выглянула изъ возка, чтобы спросить кучера, вѣрно ли мы держимся дороги, и сейчасъ же откинулась назадъ, потому что ее обдало мелкою холодною пылью и, прежде чѣмъ мы успѣли дозваться къ себѣ людей съ козелъ, снѣгъ понесся густыми хлопьями, небо въ мгновеніе стемнѣло, и мы очутились во власти настоящей снѣговой бѣды.

### ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Ѣхать назадъ къ Кромамъ было такъ же опасно, какъ и ѣхать впередъ. Даже позади чуть ли не было болѣе опасности, потому что за нами осталась рѣка, на которой было подъ городомъ нѣсколько прорубей, и мы при метели легко могли ихъ не разглядѣть и упасть подъ ледъ, а впередъ до самой нашей деревеньки шла ровная степь и только на одной седьмой верстѣ—Селивановъ лѣсъ, который въ метель не увеличивалъ опасности, потому что въ лѣсу должно быть даже тише. Притомъ въ глубь лѣса проѣзжей дороги не было, а она шла по оушкѣ. Лѣсъ намъ могъ быть только полезнымъ указаніемъ, что мы проѣхали половину дороги до дому и потому кучеръ Спиридонъ погналъ лошадей пониже.

Дорога все становилась тяжелѣе и снѣжистѣе: прежняго веселаго стука подъ полозьями не было и помина, а, на-

противъ, возокъ ползъ по рыхлому наносу и скоро началъ бочить то въ одну, то въ другую сторону.

Мы потеряли спокойное настроеніе духа и начали чаще осведомляться о нашемъ положеніи у лакея и у кучера, которые давали намъ отвѣты неопредѣленные и нетвердые. Они старались внушить намъ увѣренность въ нашей безопасности, но, очевидно, и сами такой увѣренности въ себѣ не чувствовали.

Черезъ полчаса скорой ѣзды, при которой кнутъ Спиридона все чаще и чаще щелкалъ по лошадакамъ, мы были обрадованы восклицаніемъ:

— Богъ Селиванкинъ лѣсъ завиднѣлся.

— Далеко онъ?—спросила тетушка.

— Нѣтъ, вотъ совсѣмъ до него доѣхали.

Это такъ и слѣдовало.—мы ѣхали отъ Брэмъ уже около часа, но прошло еще добрыхъ полчаса.—мы все ѣдемъ и кнутъ хлещетъ по коньямъ все чаще и чаще, а лѣса нѣтъ.

— Что же это такое? Гдѣ Селивановъ лѣсъ?

Съ козелъ ничего не отвѣчаютъ.

— Гдѣ же лѣсъ?—переспрашиваетъ тетушка:—проѣхали мы его, что ли?

— Нѣтъ, еще не проѣзжали.—глухо, какъ бы изъ-подъ подушки, отвѣчаетъ Спиридонъ.

— Да что же это значить?

Молчаніе.

— Подите вы сюда! Остановитесь! Остановитесь!

Тетушка выглянула изъ-за фартука и изо всѣхъ силъ отчаянно прикнула: «остановитесь!» а сама упала назадъ въ возокъ, куда вмѣстѣ съ нею ввалилось цѣлое облако снѣжныхъ шапокъ, которыя, подчиняясь вліянію вѣтра, еще не сразу съли, а тряслись точно рѣющія мухи.

Кучерь остановилъ лошадей, и прекрасно сдѣлалъ, потому что онѣ тяжело носили живогатами и шатались отъ усталости. Если бы имъ не дать въ эту минуту передышки, бѣдныя животныя, вѣроятно, упали бы.

— Гдѣ ты?—спросила тетушка сошедшаго Бориса.

Онъ былъ на себя не похожъ. Передъ нами стоялъ не человѣкъ, а снѣжный столбъ. Воротникъ волчьей шубы у Бориса былъ поднятъ вверхъ и обвязанъ какимъ-то обрывкомъ. Все это пропущено снѣгомъ и слѣзло въ одну кучу.

Борись былъ не знатокъ дороги и робко отвѣчалъ, что мы, *кажется*, сбѣлись.

— Позови сюда Спиридона.

Звать голосомъ было невозможно: метель всѣмъ затыкала рты и только сама одна ревѣла и выла на просторѣ съ ужасающимъ ожесточеніемъ.

Бориска полѣзъ на козла, чтобы потянуть Спиридона рукою, но... ему на это потребовалось потратить очень много времени прежде, чѣмъ онъ сталъ снова у возка и объяснилъ:

— Спиридона нѣтъ на козлахъ!

— Какъ нѣтъ! гдѣ же онъ?

— Я не знаю. Вѣрно сошелъ поискать слѣда. Позвольте и я пойду.

— О Господи! Нѣтъ, не надо,—не ходи; а то вы оба пропадете, и мы всѣ замерзнемъ.

Услыхавъ это слово, я и мой кузень заплакали, но въ это же самое мгновеніе у возка рядомъ съ Борисушкой появился другой снѣговой столбъ, еще болѣе крупный и страшный.

Это былъ Спиридонъ, надѣвший на себя запасной мочальный кулекъ, который стоялъ вокругъ его головы весь набитый снѣгомъ и обмерзлый.

— Гдѣ же ты видѣлъ лѣсъ, Спиридонъ?

— Видѣлъ, сударыня.

— Гдѣ же онъ теперь?

— И теперь видно.

Тетушка хотѣла посмотрѣть, но ничего не увидала, все было темно. Спиридонъ увѣрялъ, что это оттого, что она «необсмотрѣвши»; но что онъ очень давно видитъ какъ лѣсъ чернѣть, но... только въ томъ бѣда, что къ нему подъѣзжаемъ, а онъ отъ насъ отъѣзжаетъ.

— Все это, воля ваша, Селиванка дѣлаетъ. Онъ насъ куда-то заводитъ.

Услыхавъ, что мы попали въ такую страшную пору въ руки злодѣя Селиванки, мы съ кузеномъ заплакали еще громче, но тетушка, которая была по рожденію деревенская барышня и потомъ полковая дама, она не такъ легко терялась, какъ городскія дамы, которымъ всякія невзгоды меньше знакомы. У тетушки были оныть и сноровка, и они насъ спасли изъ положенія, которое, въ самомъ дѣлѣ, было очень опасно.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Не знаю: вѣрла или не вѣрла тетушка въ злое волшебство Селивана, но она прекрасно сообразила, что теперь всего важнѣе для нашего спасенія, чтобы не выбились изъ силъ наши лошади. Если лошади изурядятся и станутъ, а морозъ закрѣпчаетъ, то всё мы непременно погибнемъ. Насъ удушить буря и морозъ заморозить. Но если лошади сохранять силу для того, чтобы брести какъ-нибудь, шагъ за шагомъ, то можно питать надежду, что кони, идучи по вѣтру, сами выйдутъ какъ-нибудь на дорогу и привезутъ насъ къ какому-нибудь жилью. Пусть это будетъ хоть нетопленая избушка на курьихъ ножкахъ въ овражкѣ, но все же въ ней хоть не бьетъ такъ сердито выюга и нѣтъ этого дерганья, которое ощущается при каждомъ усилии лошадей переставить ихъ усталыя ноги... Тамъ бы можно было уснуть... Уснуть ужасно хотѣлось и мнѣ, и моему кузену. На этотъ счетъ изъ насъ счастлива была только одна маленькая, которая спала за теплою заячьей шубкой у няни, но намъ двумъ не давали засыпать. Тетушка знала, что страшно, потому что сонный скорѣе замерзнетъ. Положеніе наше съ каждой минутой становилось хуже, потому что лошади уже едва шли и сидѣвшіе на козлахъ кучеръ и лакей начали отъ стужи застывать и говорить невнятнымъ языкомъ, а тетушка перестала обращать вниманіе на меня съ братомъ, и мы, прижавшись другъ къ другу, разомъ уснули. Мнѣ даже видѣлись веселые сны: лѣто, нашъ садъ, наши люди, Аполлинарій, и вдругъ все это перескочило къ поѣздкѣ за ландышами и къ Селивану, про котораго не то что-то слышу, не то только что-то припоминаю. Все спуталось... такъ что никакъ не разберу, что происходитъ во снѣ, что наяву. Чувствуется холодъ, слышится вой вѣтра и тяжелое хлопанье рогожки на крышкѣ возка, а прямо передъ глазами стоитъ Селиванъ, въ свиткѣ на одно плечо, а въ вытянутой къ намъ рукѣ держитъ фонарь... Видѣніе это, сонъ или картина фантазій?

Но это былъ не сонъ, не фантазія, а судьбѣ, дѣйствительно. угодно было привести насъ въ эту страшную ночь въ страшный дворъ Селивана, и мы не могли искать себѣ спасенія нигдѣ въ иномъ мѣстѣ, потому что кругомъ не

было вблизи никакого другого жилья. А между тѣмъ съ нами была еще тетушкина шкатулка, въ которой находилось тридцать тысячъ ея денегъ, составлявшихъ все ея состояніе. Какъ остановиться съ такимъ соблазнительнымъ богатствомъ у такого подозрительнаго человѣка, какъ Селиванъ?

Конечно, мы погибли! Впрочемъ, выборъ могъ быть только въ томъ, что лучше,—замерзнуть ли на вьюгѣ, или пасть подъ пожомъ Селивана и его злыхъ сообщниковъ?

### ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Какъ во время короткаго мгновенія, когда сверкнулъ молнія, глазъ, находившійся въ темнотѣ, вдругъ различаетъ разомъ множество предметовъ, такъ и при появленіи освѣтившаго насъ Селиванова фонаря я видѣлъ ужасъ всѣхъ лицъ нашего бѣдствующаго экипажа. Кучеръ и лакей чуть не повалились передъ нимъ на колѣна и остолбѣнѣли въ наклонѣ, тетушка подалась назадъ, какъ будто хотѣла продать спину кибитки. Няня же пришла лицомъ къ ребенку и вдругъ такъ обратилась, что сама сдѣлалась не больше ребенка.

Селиванъ стоялъ молча, но... въ его прекрасномъ лицѣ я не видалъ ни малѣйшей злости. Онъ теперь казался только сосредоточеннѣе, чѣмъ тогда, когда несъ меня на закоркахъ. Оглядѣвъ насъ, онъ тихо спросилъ:

— Отогрѣться, что ли?...

Тетушка оправилась скорѣе другихъ и отвѣтила ему:

— Да, мы замерзаемъ... Спаси насъ!

— Пусть Богъ спасетъ! Възжайте,—изба топлена.

И онъ сошелъ съ порога и сталъ свѣтить фонаремъ въ кибиткѣ.

Между прислугою, тетушкою и Селиваномъ перекидывались отдѣльныя коротенькія фразы, обнаружившія со стороны нашей недовѣріе къ хозяину и страхъ, а со стороны Селивана какую-то далеко скрытую мужичью проию и, пожалуй, тоже своего рода недовѣріе.

Кучеръ спрашивалъ:—есть ли кормъ лошадей?

Селиванъ отвѣчалъ:—поищемъ.

Лакей Борисъ узнавалъ, есть ли другіе проѣзжіе?

— Взойдешь увидишь,—отвѣчалъ Селиванъ.

Няня проговорила:—да у тебя не странно ли оставаться?

Селиванъ отвѣчалъ:

— Страшно, такъ не заходи.

Тетушка остановила ихъ, сказавши каждому какъ могла тише:

— Оставьте, не перекоряйтесь,—все равно это ничему не поможетъ. Дальше ѣхать нельзя. Останемся на волю Божью.

И между тѣмъ, пока шла эта перемолвка, мы очутились въ дощатомъ отдѣленіи, отгороженномъ отъ просторной избы. Впереди всѣхъ вошла тетушка, а за нею Борисъ внесъ ся шкатулку. Потомъ вошли мы съ кузеномъ и няня.

Шкатулку поставили на столъ, а на нее поставили жестяной оплывшій саломъ подсвѣчникъ съ небольшимъ огаркомъ, котораго могло достать на одинъ часъ, не больше.

Практическая сообразительность тетушки сейчасъ же обратилась къ этому предмету, т. е. къ свѣчкѣ.

— Прежде всего,—сказала она Селивану:—принеси-ка мнѣ, батюшка, новую свѣчку.

— Вотъ свѣчка.

— Нѣтъ, ты дай новую, цѣлую!

— Новую, цѣлую?—переспросилъ Селиванъ, опираясь одною рукою на столъ, а другой о шкатулку.

— Давай поскорѣй новую, цѣлую свѣчку.

— Зачѣмъ тебѣ цѣлую?

— Это не твое дѣло,—я не скоро спать лягу. Можетъ-быть, буря пройдетъ—мы поѣдемъ.

— Буря не пройдетъ.

— Ну все равно, я тебѣ за свѣчку заплачу.

— Знамо заплатила-бъ, да нѣтъ у меня свѣчки.

— Поищи, батюшка!

— Что неположеннаго искать поусту!

Въ этотъ разговоръ вмѣшался неожиданно слабый-пре-слабый тонкій голосъ изъ-за перегородки.

— Нѣтъ у насъ, матушка, свѣечки.

— Кто это говорить?—спросила тетушка.

— Моя жена.

Лица тетки и няни немножко просіяли.—Близкое присутствіе женщины, казалось, имѣло что-то ободрительное.

— Что она больна, что ли?

— Больна.

— Чѣмъ?

— Хворостью.— Ложитесь, мнѣ огарокъ въ фонарь нуженъ. Надо лошадей ввестъ.

И какъ съ Селиваномъ ни разговаривали, онъ настоялъ на своемъ: что огарокъ ему необходимъ да и только. Онъ обѣщаль принести его снова,—но пока взять его и выщелъ.

Исполнилъ ли Селиванъ свое обѣщаніе принести назадъ огарокъ, — этого я уже не видѣлъ, потому что мы съ кузеномъ опять спали, но меня, однако, что-то тревожило. Сквозь сонъ я слышаль иногда шундуканье тетушки съ няней и улавливаль въ этомъ шопотѣ чаще всего слово «шкатулка».

Очевидно, няня и другіе наши люди знали, что въ этомъ ларцѣ сокрыты большія драгоценности, и всѣ замѣтили, что шкатулка съ перваго же мгновенія остановила на себѣ ачное вниманіе нашего неблагонадежнаго хозяина.

Обладавшая большою житейскою опытностью тетушка моя видѣла явную необходимость подчиниться обстоятельствамъ, но зато тотчасъ же сдѣлала соотвѣтственныя опасному положенію распоряженія.

Чтобы Селиванъ не зарѣзалъ насъ, рѣшено было, чтобы никто не спалъ. Лошадей велѣно было выпрячь, но не снимать съ нихъ хомутовъ, и кучеру съ лакеемъ сидѣть обомъ въ повозкѣ: они не должны были разъединяться, потому что по одиночкѣ Селиванъ ихъ перебьетъ, и мы тогда останемся безпомощны. Тогда онъ убьетъ, конечно, и насъ, и всѣхъ насъ зароетъ подъ поломъ, гдѣ зарыто уже и безъ того множество жертвъ его лютости. Въ избѣ съ нами кучеръ и лакей не могли быть оставлены, потому что тогда Селиванъ обрѣжетъ гужи въ коренномъ хомутѣ, чтобы нельзя было запрячь лошадей, или совсѣмъ сдастъ всю тройку своимъ товарищамъ, которые у него пока гдѣ-то припрятаны. Въ такомъ случаѣ намъ не на чемъ будетъ и спасаться, между тѣмъ какъ очень можетъ статься, что метель скоро уляжется, и тогда кучеръ станетъ запрягать, а Борисъ стукнетъ три раза въ стѣнку, и мы всѣ бросимся на дворъ, сядемъ и уйдемъ. Для того, чтобы быть постоянно наготовѣ, и изъ насъ никто не раздѣвался.

Не знаю, долго ли или коротко шло время для прочихъ, но для насъ, двухъ спящихъ мальчиковъ, оно пролетѣло какъ одно мгновеніе, которое вдругъ завершилось ужаснѣйшимъ пробужденіемъ.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Я проснулся оттого, что мнѣ стало невыносимо тяжело дышать. Открывъ глаза, я не увидалъ ничего ровню, потому что вокругъ меня было темно, но только въ отдаленіи что-то какъ будто сѣрѣло: это обозначалось окно. Но зато, какъ при свѣтѣ Селиванова фонаря я разомъ увидалъ лица всѣхъ бывшихъ на той ужасной сценѣ людей. такъ теиерь я въ одно мгновенье вспомнилъ все—кто я, гдѣ я, зачѣмъ я здѣсь, кто есть у меня милые и дорогіе въ отцовскомъ домѣ, — и мнѣ стало всего и всѣхъ жалко, и больно, и страшно, и мнѣ хотѣлось закричать, но это-то и было невозможно. Мои уста были зажаты плотно человѣческой рукою, а на ухо трепетный голосъ шепталъ мнѣ:

— Ни звука, молчи, ни звука! Мы погибли, — къ намъ ломятся.

Я узналъ теткинъ голосъ и пожалъ ея руку въ знакъ того, что я понимаю ея требованіе.

За дверями, которыя выходили въ сѣни, слышался шорохъ... кто-то тихо переступалъ съ ноги на ногу и водилъ по стѣнѣ руками... Очевидно, этотъ злодѣй искалъ, но никакъ не могъ найти двери...

Тетушка прижала насъ къ себѣ и прошестала, что Богъ намъ еще можетъ помочь, потому что въ дверяхъ ея устроено укрѣпленіе. Но въ это же самое мгновеніе, можетъ-быть, именно потому, что мы выдали себя своимъ шопотомъ и дрожью, за тесовой перегородкой, гдѣ была изба и откуда при разговорѣ о свѣчкѣ отзывалась жена Селивана, кто-то выбѣжалъ и сѣѣнился съ тѣмъ, кто тихо подкрадывался къ нашей двери, и они вдвоемъ начали ломиться; дверь затрещала, и къ нашимъ ногамъ полетѣли столъ, скамья и чемоданы, которыми заставилась тетушка, а въ самой распахнувшейся двери появилось лицо Борисушки, за шею котораго держались могучія руки Селивана...

Увидавъ это, тетушка закричала на Селивана и бросилась къ Борису.

— Матушка! Богъ спасъ,—хрипѣлъ Борисъ.

Селиванъ принялъ свои руки и стоялъ.

— Скорѣе, скорѣй вонъ отсюда!—заговорила тетушка.— Гдѣ наши лошади?

— Лошади у крыльца, матушка, я только хотѣлъ васъ вызвать... А этотъ разбойникъ... Богъ спасъ, матушка! — лепетала скороговоркою Борисъ, хватая за руки меня и моего кузена и забирая по дорогѣ все, что попало. Всѣ врозь бросились къ двери, вскочили въ повозку и понеслись вскачь, сколько было конской мочи. Селиванъ, казалось, былъ жестоко переконфуженъ и смотрѣлъ намъ вслѣдъ. Онъ, очевидно, зналъ, что это не можетъ пройти безъ послѣдствій.

На дворѣ теперь свѣтало, и передъ нами на востокъ горѣла красная, морозная рождественская заря.

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Мы доѣхали до дому не болѣе какъ въ полчаса, во все время безумолчно толкуя о пережитыхъ нами страхахъ. Тетушка, няня, кучеръ и Борисъ всѣ перебывали другъ друга и безпрестанно крестились, благодаря Бога за наше удивительное спасеніе. Тетушка говорила, что она не спала всю ночь, потому что ей безпрестанно слышалось, какъ кто-то нѣсколько разъ подходилъ, пробовать отворить двери. Это и понудило ее загромоздить входъ всѣмъ, что попало подъ ея руки. Она тоже слышала какой-то подозрительный шопотъ за перегородкою у Селивана, и ей казалось, что онъ не разъ тихонько отворялъ свою дверь, выходилъ въ сѣни и тихонько пробовалъ за скобку нашей двери. Все это слышала и няня, хотя она, по ея словамъ, минутами засынала. Кучеръ и Борисъ видѣли болѣе всѣхъ. Боясь за лошадей, кучеръ не отходилъ отъ нихъ ни на минуту, но Борисушка не разъ подходилъ къ нашимъ дверямъ и всякій разъ, какъ подходилъ онъ, — сію же минуту появлялся изъ своихъ дверей и Селиванъ. Когда буря передъ разсвѣтомъ утихла, кучеръ и Борисъ тихонько запрягли лошадей и тихонько же выѣхали, сами отперевъ ворота; но когда Борисъ также тихо подошелъ опять къ нашей двери, чтобы насъ вывести, тутъ Селиванъ увидалъ, что добыча уходитъ у него изъ рукъ, бросился на Бориса и началъ его душить. Слава Богу, конечно, что это ему не удалось и онъ теперь уже не отдѣляется одними подозрѣніями, какъ отдѣлялся до сихъ поръ: его злыя памфренія были слишкомъ ясны и слишкомъ очевидны, и все это происходило не съ глазу на глазъ съ какими-ни-

будь однимъ человѣкомъ, а при шести свидѣтеляхъ, изъ которыхъ тетюшка одна стояла по своему значенію нѣсколькихъ, потому что она слыла во всемъ городѣ умницею и къ ней, несмотря на ея среднее состояніе, заѣзжали съ визитами губернаторъ, а нашъ тогдашній исправникъ былъ ей обязанъ устройствомъ своего семейнаго благополучія. По одному ея слову, онъ, разумѣется, сейчасъ же возьмется разслѣдовать дѣло по горячимъ слѣдамъ, и Селивану не миновать петли, которую онъ думалъ накинуть на наши шеи.

Сами обстоятельства, казалось, слагались такъ, что все собиралось къ немедленному отпущенію за насъ Селивану и къ наказанію его за звѣрское покушеніе на нашу жизнь и имущество.

Подъѣзжая къ своему дому, за родникомъ на горѣ, мы встрѣтили верхового парня, который, завидѣвъ насъ, чрезвычайно обрадовался, заболталъ ногами по бокамъ лошади, на которой ѣхалъ, и, снявъ издали шапку, подсекалъ къ намъ съ сіяющимъ лицомъ и началъ рапортовать тетюшкѣ, какое мы причинили дома всѣмъ безпокойство.

Оказалось, что отецъ, мать и всѣ домашніе тоже не спали. Насъ непременно ждали, и съ тѣхъ поръ, какъ вечеромъ начала разыгрываться метель, всѣ были въ большой тревогѣ — не сбился ли мы съ дороги или не случилось ли съ нами какое-нибудь другое несчастье: могла сломаться въ ухабѣ оглобля, — могли напасть волки... Отецъ высылалъ навстрѣчу намъ нѣсколько человѣкъ верховыхъ людей съ фонарями, но буря рвала изъ рукъ и гасила фонари, да и ни люди, ни лошади никакъ не могли отбиться отъ дома. Топочегся человѣкъ очень долго, — все ему кажется, будто онъ ѣдетъ противъ бури, и вдругъ остановка и лошадь ни съ мѣста далѣе. Сѣдокъ ее понуждаетъ, хотя и самъ едва дышитъ отъ задухи, но конь не идетъ... Вершникъ слѣзетъ, чтобы взять за поводъ и провести оробѣвшее животное, и вдругъ, къ удивленію своему, открываетъ, что лошадь его стоитъ, упершись лбомъ въ стѣну конюшни или сарая... Только одинъ изъ развѣдчиковъ уѣхалъ немножко далѣе и имѣлъ настоящую дорожную встрѣчу: это былъ шорникъ Прохоръ. Ему дали выносную форейторскую лошадь, которая закусывала между зубами удила, такъ что желѣзо до губъ ея не дотрогивалось, и ей черезъ то ста-

новились нечувствительны никакія удержки. Она и понесла Прохора въ самый адъ метели, и скакала долго, брыкая задомъ и загибая голову къ переднимъ колѣнамъ. пока, наконецъ, при одномъ такомъ вольтѣ, шорникъ перелетѣлъ черезъ ея голову и всю свою фигурую ввалился въ какую-то странную кучу живыхъ людей, не оказавшихъ, впрочемъ, ему съ перваго раза никакого дружелюбія. Напротивъ, изъ нихъ кто-то тутъ же снабдилъ его тумакомъ въ голову, другой сдѣлалъ поправку въ спину, а третій сталъ мять ногами и приталкивать чѣмъ-то хододнымъ, металлическимъ и крайне неудобнымъ для ощущенія.

Прохоръ былъ малый не промахъ,—онъ понялъ, что имѣеть дѣло съ особенными существами, и неистово закричалъ.

Испытываемый имъ ужасъ, вѣроятно, придалъ его голосу особенную силу, и онъ былъ немедленно услышанъ. Для спасенія его тутъ же, въ трехъ отъ него шагахъ, показалось «огненное свѣщеніе». Это былъ огонь, который выставили на окнѣ въ нашей кухнѣ, подъ стѣною которой пріютились исправникъ, его инсpectorъ, разсыльный солдатъ и ямщикъ съ тройкою лошадей, увязшихъ въ сугробѣ.

Они тоже сбились съ дороги и, понавъ къ нашей кухнѣ, думали, что находятся гдѣ-то на дугу у сѣшняго омета.

Ихъ отконали и просили кого на кухню. кого въ домъ, гдѣ исправникъ теперь и кушалъ чай, собираясь поспѣть къ своимъ въ городъ ранѣе, чѣмъ они проснутся и встретятся его отсутствіемъ послѣ такой пенастой ночи.

— Вотъ это прекрасно,—сказала тегушка:—исправникъ теперь всѣхъ нужиѣе.

— Да! онъ баринъ хватскій, онъ Селиванкѣ задасть!—подхватили люди. и мы повеселись вскачь и подкатили къ дому, когда исправникова тройка стояла еще у нашего крыльца.

Сейчасъ исправнику все разскажутъ и черезъ полчаса разбойникъ Селиванъ будетъ уже въ его рукахъ.

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Мой отецъ и исправникъ были поражены тѣмъ, что мы перенесли въ дорогѣ и особенно въ разбойничьемъ домѣ Селивана, который хотѣлъ насъ убить и воспользоваться нашими вещами и деньгами...

Кстати о деньгахъ. При упоминаніи о нихъ, тетушка сейчасъ же воскликнула:

— Ахъ. Боже мой! да гдѣ же моя шкатулка?

Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ же эта шкатулка и лежація въ ней тысячи?

Представьте себѣ, что ея не было! Да, да, ея-то одной только и не было ни въ комнатахъ между внесенными вещами, ни въ повозкѣ, — словомъ нигдѣ... Шкатулка, очевидно, осталась тамъ и теперь—въ рукахъ Селивана... Или... можетъ-быть даже онъ ее еще ночью выкралъ. Ему вѣдь это было возможно; онъ, какъ хозяинъ, могъ знать всѣ шелки своего дрянного дома, и этихъ щелокъ у него навѣрно не мало... Могла у него быть и подъемная половица, и приставная дощечка въ перегородкѣ.

И едва только опытнымъ въ выслѣживаніи разбойничьихъ дѣлъ исправникомъ было высказано послѣднее предположеніе о приставной дощечкѣ, которую Селиванъ могъ ночью тихонько отставить и черезъ нее утащить шкатулку, какъ тетушка закрыла руками лицо и упала въ кресло.

Боясь за свою шкатулку, она именно спрятала ее въ уголокъ подъ лавкою, которая приходилась къ перегородкѣ, отдѣляющей наше ночное помѣщеніе отъ той части избы, гдѣ оставался самъ Селиванъ съ его женою...

— Ну, вотъ оно и есть!—воскликнулъ, радуясь вѣрности своихъ опытныхъ соображеній, исправникъ.—Вы сами ему подставили вашу шкатулку!.. но я все-таки удивляюсь, что ни вы, ни люди, никто ея не хватился, когда вамъ пришло время ѣхать.

— Да, Боже мой! мы были всѣ въ такомъ страхѣ!—стонала тетушка.

— И это правда, правда; я вамъ вѣрю,—говорилъ исправникъ: — вамъ было чего напугаться, но все-таки... такая большая сумма... такія хорошія деньги. Я сейчасъ скачу, скачу туда... Онъ вѣрно уже скрылся куда-нибудь, но онъ отъ меня не уйдетъ! Наше счастье, что всѣ знаютъ, что онъ воръ, и всѣ его не любятъ: его никто не станетъ скрывать... А впрочемъ, — теперь у него въ рукахъ есть деньги... онъ можетъ дѣлиться... Надо спѣшить... Народъ вѣдь шельма... Прощайте, я ѣду. А вы успокойтесь, примите капли... Я ихъ воровскую натуру знаю и увѣряю васъ, что онъ будетъ пойманъ.

И исправникъ опоясался своею саблею. какъ вдругъ въ передней послышалось между бывшими тамъ людьми необыкновенное движеніе и... черезъ порогъ въ залу, гдѣ все мы находились, тяжело дыша, вошелъ Селиванъ съ тетункиной шкатулкой въ рукахъ.

Все вскочили съ мѣсть и остановились какъ вкопанные...

— Укладочку забыли, возьмите, — глухо произнесъ Селиванъ.

Болѣе онъ ничего не могъ говорить, потому что совѣзмъ задыхался отъ непомѣрно скорой ходьбы и, можетъ-быть, отъ сильнаго внутренняго волненія.

Онъ поставилъ шкатулку на столъ, а самъ, никѣмъ не прошенный, сѣлъ на стулъ и опустилъ голову и руки.

### ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Шкатулка была въ полной цѣлости. Тетунка сняла съ себя ключикъ, отперла ее и воскликнула:

— Все, все какъ было!

— Сохранно, — тихо молвилъ Селиванъ. — Я все бѣгъ за вами... хотѣлъ догнать... не сдужалъ.. Простите, что сплзу передъ вами... задохнулся.

Отецъ первый подошелъ къ нему, обнявъ его и поцѣловалъ въ голову.

Селиванъ не трогался.

Тетунка вынула изъ шкатулки двѣ сотенныя бумажки и стала давать ихъ ему въ руки.

Селиванъ продолжалъ сидѣть и смотрѣть, словно ничего не понималъ.

— Возьми, что тебѣ даютъ, — сказали исправникъ.

— За что? — не надо!

— За то, что ты честно сберегъ и принесъ забытыя у тебя деньги.

— А то какъ же? Развѣ надо не честно?

— Ну ты... хороній человекъ... ты не подумалъ утаить чужое.

— Утаить чужое!.. — Селиванъ покачалъ головою и добавилъ: — мнѣ не надо чужого.

— Но вѣдь ты обѣдѣнь, — возьми это себѣ на поправку! — ласкала его тетунка.

— Возьми. возьми. — убѣждать его мой отецъ. — Ты имѣешь на это право.

— Какое право?

Ему сказали про законъ. по которому всякій, кто найдеть и возвратитъ потерянное, имѣеть право на третью часть находки.

— Что такой за законъ,—отвѣчалъ онъ, снова отстраняя отъ себя тетюшкину руку съ бумажками. — Чужою бѣдою не разживешься... Не надо!—прощайте!

И онъ всталъ съ мѣста, чтобы идти назадъ къ своему опороченному дворнику, но отецъ его не пустилъ: онъ взялъ его къ себѣ въ кабинетъ и заперся тамъ съ нимъ на ключъ, а потомъ черезъ часъ велѣлъ запрячь сани и отвезти его домой.

Черезъ день объ этомъ происшествіи знали въ городѣ и въ округѣ, а черезъ два дня отецъ съ тетюшкою поѣхали въ Кромы и, остановясь у Селивана, пили въ его избѣ чай и оставили его женѣ теплую шубу. На обратномъ пути они опять заѣхали къ нему и еще привезли ему подарковъ: чаю, сахару и муки.

Онъ бралъ все вѣжливо, но неохотно, и говорить:

— На что? Ко мнѣ теперь, вотъ уже три дня, все стали люди заѣзжать... пошелъ доходъ... щи варили... Насъ не боятся, какъ прежде боялись.

Когда меня повезли послѣ праздниковъ въ папсіонъ, со мною опять была къ Селивану посылка, и я шелъ у него чай и все смотрѣлъ ему въ лицо и думалъ:

«Какое у него прекрасное, доброе лицо! Отчего же онъ мнѣ и другимъ такъ долго казался *пугаломъ*?

Эта мысль преслѣдовала меня и не оставляла въ покоѣ... Вѣдь это тотъ же самый человѣкъ, который все въ пред- ставлялся такимъ страшнымъ, котораго все считали колду- номъ и злодѣемъ. И такъ долго все выходило похоже на то, что онъ только тѣмъ и занятъ, что замышляетъ и устраиваетъ злодѣянія. Отчего же онъ вдругъ сталъ такъ хорошъ и приятенъ?

## ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Я былъ очень счастливъ въ своемъ дѣтствѣ въ томъ отношеніи, что первые урски религіи мнѣ были даны пре- восходнымъ христіаниномъ. Это былъ орловскій священ-

никъ, Остромысленій, — хороиій другъ моего отца и другъ всѣхъ насъ, дѣтей, которыхъ онъ умѣлъ научить любить правду и милосердіе. Я не разсказывалъ товарищамъ ничего о томъ, что произошло съ нами въ Рождественскую ночь у Селивана, потому что во всемъ этомъ не было никакой похвалы моей храбрости, а, напротивъ, надъ моимъ страхомъ можно было посмѣяться, но я открылъ все мои приключенія и сомнѣнія отцу Ефиму.

Онъ меня поласкалъ рукою и сказалъ:

— Ты очень счастливъ; твоя душа въ день Рождества была—какъ ясли для Святого Младенца, который пришелъ на землю, чтобъ пострадать за несчастныхъ. Христосъ озарилъ для тебя тьму, которою окутывало твое воображеніе—пусторѣчіе темныхъ людей. Пугало было не Селиванъ, а вы сами,—ваша къ нему подозрительность, которая никому не позволяла видѣть его добрую совѣсть. Лицо его казалось вамъ темнымъ, потому что око ваше было темно. Наблуди это для того, чтобы въ другой разъ не быть такимъ же слѣпымъ.

Это былъ совѣтъ умный и прекрасный. Въ дальнѣйшіе годы моей жизни я сблизился съ Селиваномъ и имѣлъ счастье видѣть, какъ онъ у всѣхъ сдѣлался человекомъ любимымъ и почетнымъ.

Въ новомъ имѣніи, которое купила тетушка, былъ хорошей постоялый дворъ на проѣздѣмъ трактовомъ пунктѣ. Этотъ дворъ она и предложила Селивану на хорошихъ для него условіяхъ, и Селиванъ это принялъ и жилъ въ этомъ дворѣ до самой своей кончины. Тутъ сблизилъ мои давніе дѣтскіе сны: я не только близко познакомился съ Селиваномъ, но мы питали одинъ къ другому полное довѣріе и дружбу. Я видѣлъ, какъ изменилось къ лучшему его положеніе, — какъ у него въ домѣ водворилось спокойствіе и мало-по-малу заводился достатокъ; какъ вмѣсто прежнихъ хмурыхъ выраженій на лицахъ людей, встрѣчавшихъ Селивана, теперь все смотрѣли на него съ удовольствіемъ. И дѣйствительно, вышло такъ, что какъ только просвѣтились очи окружавшихъ Селивана, такъ сдѣлалось свѣтлымъ и его собственное лицо.

Изъ тетушкныхъ людей, Селивана особенно не любилъ лакей Борисушка, котораго Селиванъ чуть не задумалъ въ ту памятную намъ Рождественскую ночь.

Надъ этой исторіей иногда подшучивали. Случай этой ночи объяснялся тѣмъ, что какъ у всѣхъ было подозрѣніе — не ограбилъ бы тетушку Селиванъ, такъ точно и Селиванъ имѣлъ сильное подозрѣніе: не завезли ли насъ кучеръ и лакей на его дворъ нарочно съ тѣмъ умысломъ, чтобы украсть здѣсь ночью тетушкины деньги и потомъ свалить все удобнѣйшимъ образомъ на подозрительнаго Селивана.

Недовѣріе и подозрительность съ одной стороны вызывали недовѣріе же и подозрѣнія — съ другой, — и всѣмъ казалось, что всѣ они — враги между собою и всѣ имѣютъ основаніе считать другъ друга людьми, склонными ко злу.

Такъ всегда зло родитъ другое зло и побѣждается только добромъ, которое, по слову Евангелія, дѣлаетъ око и сердце наше чистыми.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Остается досказать, отчего же, однако, съ тѣхъ поръ, какъ Селиванъ ушелъ отъ калачника, онъ сталъ угрюмъ и скрытенъ? Кто тогда его огорчилъ и оттолкнулъ?

Отецъ мой, будучи расположенъ къ этому добродушному чловѣку, все-таки думалъ, что у него есть какая-то тайна, которую Селиванъ упорно скрываетъ.

Это такъ и было, но Селиванъ открылъ свою тайну одной только тетушкѣ моей и то послѣ нѣсколькихъ лѣтъ жизни въ ея имѣніи и послѣ того, когда у Селивана умерла его всегда болѣвшая жена.

Когда я разъ пріѣхалъ къ тетушкѣ, бывши уже юношею, и мы стали вспоминать о Селиванѣ, который и самъ незадолго передъ тѣмъ умеръ, то тетушка рассказала мнѣ его тайну.

Дѣло заключалось въ томъ, что Селиванъ, по нѣжной добротѣ своего сердца, былъ тронутъ горестной судьбою безпомощной дочери умершаго въ ихъ городѣ отставнаго палача. Дѣвочку эту никто не хотѣлъ пріютить, какъ дитя чловѣка презрѣннаго. Селиванъ былъ бѣденъ и притомъ онъ не могъ рѣшиться держать у себя палачеву дочку въ городкѣ, гдѣ ее и его всѣ знали. Онъ долженъ былъ скрывать отъ всѣхъ ея происхожденіе, въ которомъ она была

неповинна. Иначе она не избѣжала бы тяжкихъ попрековъ отъ людей, неспособныхъ быть милостивыми и справедливыми. Селиванъ скрывалъ ее потому, что постоянно боялся, что ее узнаютъ и оскорбятъ, и эта скрытность и тревога сообщались всему его существу и отчасти на немъ отпечатывались.

Такъ, каждый, кто называлъ Селивана «пугаломъ», въ гораздо бѣльшей мѣрѣ самъ былъ для него «пугаломъ».



# ФИГУРА.

---

## ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Когда я еще просвѣщался въ Кіевѣ и въ отдаленныхъ думахъ не имѣлъ заниматься писательствомъ, у меня завязалось одно знакомство съ бѣднымъ, но благороднымъ семействомъ, жившимъ въ маленькомъ собственномъ домикѣ въ самомъ отдаленномъ краю города, близъ упраздненнаго Кирилловскаго монастыря. Семейство состояло изъ двухъ пожилыхъ сестеръ, дѣвушекъ, и изъ третьей—старушки, ихъ тетки,—тоже дѣвушки. Жили онѣ скромно на очень маленькую пенсію и на доходъ отъ своихъ коровъ и отъ своего огорода. Въ гостяхъ у нихъ бывали только три человѣка: извѣстный русскій аболіціонистъ Дмитрій Петровичъ Журавскій, я и еще оригинальный, съ виду совсѣмъ похожій на крестьянина, человѣкъ, котораго фамилія была Вигура, но всѣ называли его «Фигура».

Объ немъ здѣсь и будетъ поминальная рѣчь.

## ГЛАВА ВТОРАЯ.

Фигура или, по малороссійскому простому выговору, «Хвыгура» во время моего знакомства имѣлъ лѣтъ около шестидесяти, но обладалъ еще значительною силою и никогда не жаловался на нездоровье. Онъ имѣлъ огромный ростъ и атлетическое сложеніе: волосы у него были густые, коричневыя, почти безъ просѣди, но усы «сивые». По собственному его выраженію, онъ «сививъ зъ морды—

якъ песъ», т. е. сѣдѣть, начиная не съ головы, а съ усовъ—какъ сѣдѣютъ старыя собаки. Борода у него тоже была бы сѣдая, но онъ ее брилъ. Глаза у Фигуры были большіе, сѣрые съ поволокою, губы румяныя, цвѣтъ лица смуглый и загорѣлый. Взглядъ его имѣлъ выраженіе смѣлое, умное и съ оттѣнкомъ затасанной малороссійской ироніи.

Жилъ Фигура совершеннымъ, настоящимъ подгороднымъ мужикомъ, на предметіи Куриневкѣ, «у своей господѣ», т. е. въ собственной усадьбѣ и при собственномъ хозяйствѣ, которое велъ въ сотрудничествѣ молодой и чрезвычайно красивой крестьянки Христи. Фигура все работалъ своими собственными руками и все содержалъ въ простомъ, но безукоризненномъ порядкѣ. Онъ самъ «копалъ огородъ», самъ его воздѣлывалъ и засѣвалъ овощами и самъ же вывозилъ эти овощи на Подоль, на Житній базаръ, гдѣ становился со своею телѣгою въ ряду съ другими пріѣзжими мужиками и продавалъ свои огурцы, гѣрбузы (тыквы), дыни, капусту, бураки и рѣпку.

Торговалъ Фигура лучше другихъ потому, что его овощи всегда отличались лучшимъ достоинствомъ. Особенно славились его нѣжныя и сладкія тыквы, чрезвычайно большихъ размѣровъ, доходившія иногда до нуля вѣса.

Также и огурцы, и бураки, и капуста — все у Фигуры было самое рослое и самое лучшее.

Перекупки подольскаго Житняго базара знали, что «протъ Хвыгуры вже не учнешь». — т. е. лучше его ни у кого не достанешь, — но онъ не любилъ продавать перекупкамъ «щобъ людей не мордовали», а продавалъ прямо «людямъ», т. е. прямымъ потребителямъ.

Къ перекупамъ и перекупкамъ Фигура «мавъ зуба» (имѣлъ зубъ), и любилъ проникать хитрости этихъ людей и ихъ вынучивать. Какъ бывало перекупъ или перекупка ни переодѣнется, ни кого ни подошлютъ къ возу съ подсылкомъ, чтобы забрать товаръ у Фигуры, — онъ, бывало, это сейчасъ прошикетъ и на вопросъ «почемъ копа» — отвѣчаетъ:

— По деньгамъ, але тыльки нікогда шо не для твоей милости.

Если же подсылный станетъ увѣрять, что онъ простой

человѣкъ и торгуешь для себѣ, то Фигура, не вынимая изъ губъ трубки, скажетъ ему:

— Эге! ну не юлы—бо не покуришь! и больше не станеть разговаривать.

Фигуру все знали на базарѣ и знали, что онъ «якъ бы то не съ простыхъ людей, а тыльки опростывся» но настоящего его чина и званія и того—почему онъ такъ «опростывся»—не знали и узнать этого не добивались.

Я тоже долго этого не зналъ, а настоящего его чина и теперь не знаю.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Домикъ у Фигуры былъ обыкновенная малороссійская мазанка, раздѣленная, впрочемъ, на комнатку и кухню. Ълъ онъ пищу всегда растительную и молочную. но самую простую—крестьянскую, которую ему готовила вышеупомянутая замѣчательной красоты хохлушка Христя. Христя была «покрытка», т. е. дѣвушка, имѣвшая дитя. Дитя это была прехорошенькая дѣвочка, по имени Катря. По сосѣдству думали, что она «хвыгурина дочка», но Фигура на это дѣлалъ гримасу и, пыхнувъ губами, отвѣчалъ:

— Такъ-то оно и есть що моя! Правда, що якъ Богъ мени давъ щасте, що-бъ ее кормить, то тимъ вона теперчки моя,—а кто ее на свить бидовать пустивъ, то я вже того добродія не знаю. Але якъ кто хоче — нехай такъ и ліче: якъ моя—то нехай моя,—мени все едино.

Но насчетъ Катри еще немножко сомнѣвались; а что касается самой красавицы Христи, то ее уже считали за «дружину» Фигуры безъ всякихъ сомнѣній.

Фигура и къ этому тоже пребывалъ равнодушнѣ, и если ему кто-нибудь Христей подшучивалъ, такъ онъ отвѣчалъ только:

— А вамъ хіба завидно?

Зато же и Фигура, и Христя, да и ни въ чемъ повинная Катря несли епитимію: изъ нихъ трехъ никто не употреблялъ въ пищу ни мяса, ни рыбъ—словомъ ничего, имѣющаго сознаніе жизни.

Куриневскія жинки знали, за чтѣ эта епитимія положена.

Фигура же только усмѣхался и говорилъ:

— Дуры!

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Отношенія у Христинъ съ Фигурою были премызныя, но такія, что ничего ясно не раскрывали.

Христя держалась въ домѣ не какъ наймычка при хозяйкѣ, а какъ будто своя родная, живущая у родственника. Она «тягала воду» изъ колодца, мыла полы и хату мазала, и бѣлье стирала и шила себѣ, Катрѣ и Фигурѣ, но коровъ не доила, потому что коровы были «мощныя», и ихъ выдаивалъ самъ Фигура соответственными къ сему велико-мощными руками. Обѣдали они всѣ трое за однимъ столомъ, къ которому Христя «подносила» и «убирала». Чаю не пили вовсе, «бо це пуста повадка», а въ праздники пили сушенныя вишни или малину—и опять всѣ за однимъ столомъ. Гости у нихъ бывали только тѣ пожилыя барышни. Журавскій, да я. При насъ Христя «бигала и митусилась», т. е. хлопотала, и ее съ трудомъ можно было усадить на минуту; но когда гости вставали, чтобъ уходить, Христя быстро срывалась съ мѣста и неудержимо стремилась подавать всѣмъ верхнее платье и калоши. Гости сопротивлялись ей услугамъ, но она настаивала, и Фигура за нее заступался; онъ говорилъ гостямъ:

— Позвольте ей свою присягу исполнить.

Христя успокаивалась только тогда, когда гости позволяли ей себя «одѣтъ и обуть якъ слидь по закону». Въ этомъ была «ея присяга» — ея служебное назначеніе, которому простодушная красавица оставалась преданною и вѣрною.

Въ разговорѣ между собою Фигура и Христя относились другъ къ другу въ разныхъ формахъ: Фигура говорилъ ей «ты» и называлъ ее Христино, или Христя, а она ему говорила «вы» и называла его по имени и отчеству. Дѣвочку Катрю оба они называли «дочкою», а она кликала Фигуру «татоею», а Христю «мамой»... Катрѣ было девять лѣтъ, и она была вся въ мать — красавица.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Родственныхъ связей ни у Фигуры, ни у Христинъ никакихъ не было. Христя была «безродна сиротина», а у Фигуры (правильно Вигуры) хотя и были родственники, изъ которыхъ одинъ служилъ даже въ университетѣ про-

ассесоромъ.—но нашъ куриневскій Фигура съ этими Вигурами никакпхъ сношеній не имѣлъ — «бо вони зъ панами нались», а это, по мнѣнію Фигуры, не то что не хорошо, а «якось—не до шмыги» (т. е. не идетъ ему).

— Богъ ихъ церковный знае: они вже може яки ассесоры, чи якись таки сяки совѣтники, а мы, якъ и зъ рыла вачите—изъ простыхъ свиней.

Въ основѣ же своего характера и всѣхъ поступковъ куриневскій Фигура былъ такая оригинальная личность, что даже снимаетъ всю нелѣпость съ пословицы, внушающей пѣнить человѣка битаго—дороже небитаго.

Вотъ одинъ его поступокъ, имѣвшій значеніе для всей его жизни, которая черезъ этотъ самый поступокъ и опредѣлилась. О немъ едва ли кто знаетъ и едва ли знаетъ, а мы объ этомъ слышали отъ самого Фигуры и перескажу, такъ помню.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Я жилъ въ Кіевѣ, въ очень многолюдномъ мѣстѣ, между двумя храмами — Михайловскимъ и Софійскимъ, — и тутъ не стояли тогда двѣ деревянныя церкви. Въ праздники гдѣсь было такъ много звона, что бывало трудно выдержать, а внизу по всѣмъ улицамъ, сходящимъ къ Крещатику, были кабаки и пивныя, а на площадкѣ балаганы и качели. Ото всего этого я спасался на такіе дни къ Фигурѣ. Тамъ была тишина и покой: играло на травкѣ красивое дитя, свѣтили добрыя женскія очи, и тихо разговаривалъ всегда разумный и всегда трезвый Фигура.

Разъ я ему и сталъ жаловаться на безпокойство, спозаванку начавшееся въ моемъ кварталѣ, а онъ отвѣчаетъ:

— И не говорите. Я самъ нашего русскаго празднованія съ дѣтства переносить не могу, и все до сихъ поръ боюсь: какъ бы какой бѣды не было. Бывало, насъ кадемами проводятъ подъ качели и еще говорятъ: «смотрите — это народное!» А мнѣ еще и тогда казалось: что тутъ хорошаго — хоть бы это и народное! У Исаин пророка читается: «праздники ваши ненавиждитъ душа Моя», — и я недаромъ имѣлъ предчувствіе, что со мною когда-нибудь въ этомъ разгулѣ дурное случится. Такъ и вышло, да только хорошо, что все дурное тогда для меня поворотилось на доброе.

— А можно узнать, что это такое было?

— Я думаю, что можно. Видите... это еще, когда вы у бабушки в рукав сидели,—тогда у насъ были двѣ арміи: одна называлась первая, а другая — вторая. Я служилъ подъ Сакеномъ... Вотъ тотъ самый Ерощенчъ, что и теперь еще все акаонсты читаетъ \*). Великій, Богъ съ нимъ, былъ богомолецъ, все на колѣняхъ молился, а то еще на полъ ляжетъ и лежитъ, и лежитъ долго, и куда ни идти, и что ни беретъ — все крестится. Ему тогда и многіе другіе въ этомъ въ арміи старались подражать, и занскивали, чтобъ онъ ихъ видѣлъ... Которые умѣли — хорошо выходило... И мнѣ это разъ помогло такъ, что я за это до сихъ норъ пенсію получаю. Вотъ какимъ это было случаемъ.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Полкъ нашъ стоялъ на югѣ, въ городѣ, — тутъ же былъ и штабъ сего Ерощенча. И пошло мнѣ идти въ караулъ къ погребамъ съ порохомъ, подъ самое Свѣтлое Воскресенье. Заступилъ я караулъ въ двѣнадцать часовъ дня въ чистую субботу и стоять мнѣ до двѣнадцати часовъ въ Воскресенье.

Со мною мои армейскіе солдаты, сорокъ два человека, и шесть обвѣздныхъ казаковъ.

Стать подходитъ вечеръ, и мнѣ вдругъ начало дѣлаться чего-то очень грустно. Молодой человекъ былъ, и привязанности были семейныя. Родители еще были живы и сестра... но, самое главное и драгоценнѣйшее — мати... мати моя добродѣтельница!.. Чудесная у меня была мати, — предобрая и пренежорочная, — добромъ открытая и въ добрѣ повитая... До того была милостива, что никого не могла огорчить, ни человека, ни животного, — даже ни мяса, ни рыбы не кушала изъ сожалѣнія къ животнымъ. Отецъ бывало, спорить: «Помилуй, скажи: сколько-жъ ихъ разродится? Дѣваться будетъ некуда». А она отвѣчаетъ: «Ну это еще когда-то будетъ, а я этихъ сама выкормила, такъ они мнѣ какъ родные. Я не могу своихъ родныхъ ѣсть». И у сосѣдей не ѣла: «этихъ, говорила, я живыхъ видѣла: они мнѣ знакомые, — не могу ѣсть своихъ знакомыхъ». А потомъ и незнакомыхъ не стала кушать. «Все равно, го-

\* ) Сакенъ тогда еще былъ живъ.

ворить, съ ними убійство сдѣлано». Священникъ ее угро-варивалъ, что «это отъ Бога показано», и въ требникѣ на освященіе мясовъ молитву показывалъ, но ее не переспорилъ. «Ну, и хорошо.—отвѣчала она:—якъ вы прочитали, то вы и кушайте». Священникъ сказалъ отцу, что это все дѣлають какія-нибудь «поныряющія въ дома и прельщающія женщина, всегда учащесея и николи же въ разумъ придти мегущія». А мать говоритъ отцу: «Се пустое: я никакихъ поныряющихъ не знаю, а такъ просто противно мнѣ, чтобы одно другое поѣдало».

Я о моей матери никогда не могу вспоминать спокойно, — непременно разстроюсь. Такъ случилось и тогда. Скучно по матери! Хожу-похожу, соломинку зубами со скуки кусаю и думаю: вотъ она теперь всѣхъ провожаетъ въ село, съ вечера на заутреню, а сама спротокъ собереть, неодѣтыхъ, невычесанныхъ, — всѣхъ сама у печки перемоетъ, головенки имъ вычешетъ и чистыя рубахи надѣнетъ... Какъ съ ней радостно! Если бы я не дворянинъ былъ, я при ней бы и жилъ, и работалъ бы, а не въ караулѣ стоялъ. Чтѣ мы такое караулимъ?.. Все для смертнаго бою... А, впрочемъ, что я такъ очень скучаю... — Стыдно!.. Я вѣдь жалованье за службу получаю и чиновъ заслуживаю, а вонъ солдатъ — онъ совсѣмъ безнадежный человѣкъ, да еще бьютъ его безъ милосердія, — ему куда для сравненія тяжелѣе... а вѣдь живетъ же, терпитъ и не куксится... Бодрости себѣ надо поддаться — все и пройдетъ. Чтѣ, думаю, самое лучшее можетъ человѣкъ сдѣлать, если ему самому тяжело? То, другое, третье приходитъ въ голову, и наконецъ опять самое ясное приходитъ отъ матери: она, бывало, говоритъ: «когда самому худо, тогда поспѣши къ тѣмъ, кому еще хуже, чѣмъ тебѣ»... Ну, вотъ, солдатамъ хуже, чѣмъ мнѣ...

«Давай, думаю, я чѣмъ-нибудь солдатъ бѣдныхъ обрадую! Угощу ихъ, что ли, чаемъ напою, — разговѣюсь съ ними на мои гроши!»

Понравилось.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Я позвалъ вѣстоваго, даю ему изъ своего кошелька денегъ и посылаю, чтобы купилъ четверть фунта чаю, да три фунта сахару, да копу крашенокъ (60 красныхъ ящъ),

да хлѣба шафраннаго на все, сколько останется. Прибавилъ бы еще болѣе, да у самого не было.

Вѣстовой сбѣгалъ и все принесъ, а я сѣлъ къ столу, кою и раскладываю по кусочкамъ сахаръ—и очень занялся тѣмъ: по сколько кусковъ на всѣхъ людей достанется.

И хоть небольшая забота, а сейчасъ, какъ я этимъ занялся, такъ и скука у меня прошла, и я даже радостно сижу, да кусочки отсчитываю и думаю: простые люди—съ ними никто не нѣжничаетъ,—имъ и это участіе пріятно будетъ. Какъ услышу, что отпустный звонъ прозвонять, и люди изъ церкви пойдутъ, я поздороваюсь—скажу: «ребята! Христось воскрес!» и предложу имъ это мое угощеніе.

А стояли мы въ караулѣ за городомъ, какъ всегда пороховые погреба бывають вдалекѣ отъ жилья, а кордегардіей у насъ служили сѣни одного пустого погреба, въ которомъ въ эту пору пороху не было. Тутъ въ сѣняхъ и солдаты, и я, —часовые наружи, а казаки—трое съ солдатами, а трое въ разъѣздъ уѣхали.

Изъ города намъ, однако, звонъ слышенъ, и огни какъ мелькають. Да и по часамъ я сообразилъ, что уже время церковной службѣ непременно скоро кончиться,—скоро, должно быть, наступитъ пора поздравлять и потчевать. Я всталъ, чтобы обойти посты, и вдругъ слышу шумъ... дерутся... Я—туда, а мнѣ летитъ что-то подъ ноги, и въ ту же минуту я получаю пощечину... Чтѣ вы смотрите? Да—настоящую пощечину и трахъ,—съ одного плеча эполета прочь!

— Чтѣ такое?... Кто меня бьетъ?

И главное дѣло—темно.

— Ребята! кричу,—братцы! Чтѣ это дѣлается?

Солдаты узнали мой голосъ и отвѣчаютъ:

— Казаки, ваше благородіе, винница облопалась!.. дерутся.

— Кто же это на меня бросился?

— И васъ, ваше благородіе, это казакъ по мордѣ ударилъ. Вошь оная есть—въ ногахъ лежитъ безъ памяти, а двухъ тамъ на погребницѣ вьзкутъ. Рубиться хогляи.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Все вдругъ въ головѣ у меня засуетилось и перепута-

лось. Тягчайшее оскорбленіе! Молодо-зелено, на все еще я тогда смотрѣлъ не своими глазами, а какъ задолбилъ, и разсужденіе тоже было не свое, а чужое. вдолбленное, какъ принято. «Тебя ударили — такъ это безчестіе, а если ты побьешь на отместку — тогда ничего, — тогда это тебѣ честь»... Убить его, этого казака, я долженъ!.. зарубить его на мѣстѣ!.. А я не зарубилъ. Теперь куда же я годенъ? Я битый по щекѣ офицеръ. Все, значитъ, для меня кончено?.. Кинусь—заколю его! Непремѣнно надо заколоть! Онъ вѣдь у меня честь взялъ, онъ всю карьеру мою испортилъ. Убить! за это сейчасъ убить его! Судь оправдастъ или не оправдастъ, но честь спасена будетъ.

А въ глубинѣ кто-то и говоритъ: «не убій!» Это я понималъ кто! — Это такъ Богъ говоритъ: на это у меня, въ душѣ моей, явилось удостовѣреніе. Такое, знаете, крѣпкое, несомнѣнное удостовѣреніе, что и доказывать не надо, и своротить нельзя. Богъ! Онъ вѣдь старше и выше самого Сакена. Сакенъ откомандуетъ, да когда-нибудь со звѣздой въ отставку выйдетъ, а Богъ-то вѣки-вѣговъ будетъ всей вселенной командовать! А если Онъ мнѣ не позволяетъ убить того, кто меня билъ, такъ что мнѣ съ нимъ дѣлать? Что сдѣлать? Съ кѣмъ посоветуюсь?.. Всего лучше съ Тѣмъ. Кто самъ это вынесъ. Иисусъ Христосъ!.. Тебя Самого били?.. Тебя били, и Ты простилъ... а я что предъ Тобою... я червь... гадость... ничтожество! Я хочу быть *Твой*: я простилъ! я *Твой*...

Вотъ только плакать хочется!.. плачу и плачу!

Люди думаютъ, что я это отъ обиды, а я уже, — понимаете... я уже совсѣмъ не отъ обиды...

Солдаты говорятъ:

— Мы его уберемъ!

— Что вы!.. Богъ съ вами!.. Нельзя человѣка убивать!

Спрашиваю старшаго: куда его дѣли?

— Мы, говорятъ, — ему руки связали и въ погребъ его бросили.

— Развяжите его скорѣе и приведите сюда.

Пошли его развязать и вдругъ дверь изъ погреба наотмашь распахнулась, и этотъ казакъ летитъ на меня прямо, какъ по воздуху, и, точно снапъ, опять упалъ въ ноги и рохтитъ:

— Ваше благородіе!.. я несчастный человѣкъ!..

— Конечно, говорю,— несчастный.

— Что со мною сдѣлалъ..

И плачетъ горестно такъ, что даже реветъ.

— Встань!— говорю.

— Не могу встать, я еще въ изступленіи...

— Отчего ты въ изступленіи?

— Я непитушій, а меня напоили... У меня дома жена молодая и дѣтки... и отцы старички старые... Что я надѣлалъ!..

— Кто тебя напоилъ?

— Товарищи, ваше благородіе, — заставили за живыхъ и за мертвыхъ въ перезвонъ пить... Я непитушій!

И рассказалъ, что заѣхали они въ шинокъ, и стали его товарищи неволить — выпить для Свѣтлаго Христова Воскресенія, въ самый первый звонъ, — чтобы всемъ живымъ и умершимъ «легонько взгадалось», — одинъ товарищъ поднесъ ему чару, а другой — другую, а третью онъ уже самъ купилъ и другихъ потчивалъ, а дальше не помнитъ, что ему пришло въ голову на меня броситься и ударить, и эполетъ сорвать.

Вотъ вамъ и приключеніе! Тенерь валяется въ ногахъ, плачетъ, какъ дитя, и весь хмель сошелъ... Стонетъ:

— Дѣтки мои, голубятки мои!.. Старички мои жалостные!.. женка несчастная!..

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Убивается бѣдняга, и люди все на него смотреть, и — вижу и имъ тягостно, а мнѣ еще болѣе всехъ тяжело. А межъ тѣмъ какъ я немощко раздумался, сердце-то у меня ужъ назадъ пошло: разсуждать опять начинаю: ударъ онъ меня наединѣ, я и минуты бы одной не колебался — сказалъ бы: «иди съ миромъ и впередъ такъ не дѣлай». Но вѣдь это все произошло при подначальныхъ людяхъ, которымъ я долженъ подавать первый примѣръ...

И вдругъ это слово опять меня спасительно уловляетъ... какой-токой памъ поданъ *первый примѣръ*? И вѣдь не могу же это забыть... я вѣдь не могу же, чтобы Исуса вспоминать, а притомъ ему всекъмъ напротивъ надъ лопьми дѣлать...

«Нѣтъ, думаю, этого нельзя: я спутался, — лучше я

тетраню отъ себя это пока... хоть на-время, а скажу только о, что надо по правилу...»

Взявъ въ руки яйцо и хотѣлъ сказать: «Христось воскресь!» — но чувствую, что вотъ вѣдь я уже и схитрилъ. Генеръ я не Его, — я Ему ужъ чужой сталъ... Я этого не очу... не желаю отъ Него увольняться. А зачѣмъ же я дѣлаю, какъ тѣ, кому съ Нимъ тяжело было... который говорилъ: «Господи, выйди отъ меня: я человѣкъ грѣшный!» Безъ Него-то, конечно, полегче... Безъ Него пожалуй со сѣмь уживешься... ко всѣмъ поддѣлаешься...

А я этого не хочу! Не хочу, чтобы мнѣ легче было! Не очу!

И другое вспомнилъ... Я Его не попрошу уйти, а еще озову... Приди—ближе! и зачиталъ: «Христе, свѣте истинный, просвѣщай и освѣщай всякаго человѣка, грядущаго въ миръ»...

Между солдатами вдругъ вниманіе... кто-то и повторилъ: — «Всякаго человѣка!»

— Да, говорю,—«всякаго человѣка, грядущаго въ миръ», такой смыслъ придаю, что Онъ просвѣщаетъ того, кто приходитъ отъ вражды къ *миру*. И еще сильнѣе голосомъ озвалъ: «Да знаменуется на пасъ, грѣшныхъ, свѣтъ Твоего лица!»

— Да знаменуется!.. да знаменуется!» вразъ, однимъ выханіемъ продохнули солдаты... Всѣ содрогнулись... всѣ слхлпываютъ... всѣ неприступный свѣтъ узрѣли и къ нему унулись...

— Братцы! говорю,—будемъ молчать!

Вразъ всѣ поняли.

— Языкъ пусть намъ отсохнетъ, — отвѣчаютъ: — ничего не скажемъ.

— Ну.—я говорю:—значить Христось воскресъ! — и поцѣловалъ перваго побившаго меня казака, а потомъ сталъ и съ другими цѣловаться. «Христось воскресъ!» — «Воистину воскресъ!»

И вправду обнимали мы другъ друга радостно. А казакъ се плакалъ и говорилъ: «я въ Иерусалимъ пойду Бога молить... священника упрошу, чтобы мнѣ питинью наложилъ».

— Богъ съ тобой, говорю,—еще лучше и въ Иерусалимъ е ходи, а только водки не пей.

— Нѣтъ, плачетъ, я ваше благородіе, и водки не буду пить, и пойду къ батюшкѣ...

— Ну, какъ знаешь.

Пришла смѣна, и мы возвратились, и я отрапортовалъ, что все было благополучно, и солдаты всё молчали; но случилось такъ, однако, что секретъ нашъ вышелъ наружу.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

На третій день праздника призываетъ меня къ себѣ командиръ, запирается въ кабинетъ и говоритъ:

— Какъ это вы, смѣнившись послѣдній разъ съ караула, рапортовали, что у васъ все было благополучно, когда у васъ было ужасное происшествіе!

Я отвѣчаю:

— Точно такъ, господинъ полковникъ, происшествіе было нехорошее, но Богъ насъ вразумилъ, и все кончилось благополучно.

— Нижній чинъ оскорбилъ офицера и остается безъ наказанія... и вы это считаете благополучнымъ? Да у васъ что же — нѣтъ, что ли, ни субординаціи, ни благородней гордости?

— Господинъ полковникъ, — говорю: — казакъ былъ человѣкъ непьющій и обезумѣлъ, потому что его опонли.

— Пьянство — не оправданіе!

— Я, — говорю: — не считаю за оправданіе, — пьянство на губа, но я духу въ себѣ не найду доносить, чтобы за меня безразсуднаго человѣка наказывали. Впрочемъ, господинъ полковникъ, я простить.

— Вы не имѣли права прощать!

— Очень знаю, господинъ полковникъ, не могъ выдержать.

— Вы послѣ этого не можете болѣе оставаться на службѣ.

— Я готовъ выйти.

— Да: подавайте въ отставку.

— Слушаю-съ.

— Миѣ васъ жалко, — но поступокъ вашъ есть не позволенный. Пеняйте на себя и на того, кто вамъ внушилъ такія правила.

Миѣ стало отъ этихъ словъ грустно, и я попросилъ извиненія и сказалъ, что я пенять ни на кого не буду, а ое-

бенно на того, кто мнѣ внушилъ такія правила, потому что я взялъ себѣ эти правила изъ христіанскаго ученія.

Полковнику это ужасно не понравилось.

— Чтò,—говорить:—вы мнѣ съ христіанствомъ!—вѣдь я не богатый купецъ и не барыня. Я ни на колокола не могу жертвовать, ни ковровъ вышивать не умѣю, а я съ васъ службу требую. Военный человѣкъ долженъ почерпнуть христіанскія правила изъ своей присяги, а если вы чего-нибудь не умѣли согласовать, такъ вы могли на все получить совѣтъ отъ священника. И вамъ должно быть очень стыдно, что казакъ, который васъ прибилъ, лучше зналъ, что надо дѣлать: онъ явился и открылъ свою совѣсть священнику! Его это одно и спасло, а не ваше прощенье. Дмитрій Ероенчъ простилъ его не для васъ, а для священника, а солдаты всѣ, которые были съ вами въ караулѣ, будутъ раскассированы. Вотъ чѣмъ ваше христіанство для нихъ кончилось. А вы сами пожалуйста къ Сакену; онъ самъ съ вами поговорить — ему и рассказываете про христіанство: онъ церковное писаніе все равно, какъ военный уставъ, знаетъ. А всѣ, извините, о васъ того мнѣнія, что вы, извините, получивъ пощещину, изволили прощать единственно съ тѣмъ, чтобы это безчестіе вамъ не помѣшало на службѣ остаться... Нельзя! Ваши товарищи съ вами служить не желаютъ.

Это мнѣ, по тогдашней моей молодости, показалось жестоко и обидно.

— Слушаю-съ, говорю: — господинъ полковникъ, я пойду къ графу Сакену и доложу все, какъ дѣло было, и объясню, чему я подчинился — все доложу по совѣсти. Можетъ-быть, онъ иначе взглянетъ.

Командиръ рукой махнулъ.

— Говорите, что хотите, но знайте, что вамъ ничто не поможетъ. Сакенъ церковные уставы знаетъ — это правда, но, однако, онъ все-таки пока еще исполняетъ военные. Онъ еще въ архіереи не постригся.

Тогда между военными ходили разные нелѣпные слухи о Сакенѣ: одни говорили, будто онъ имѣетъ видѣнія и знаетъ отъ ангела — когда надо начинать бой; другіе рассказывали вещи еще болѣе чудныя, а полковой казначей, имѣвшій большой кругъ знакомства съ купцами, увѣрялъ, будто Фларетъ московскій говорилъ графу Протасову: «Если я

умру, то Боже васъ сохрани, не дѣлайте оберъ-прокуро-ромъ Муравьева, а митрополитомъ московскимъ — кievскаго ректора (Иннокентія Борисова). Они только хороши кажутся, а хорошо не сдѣлаютъ; а вы ставьте на свое мѣсто Сакена, а на мое — самаго смирнаго монаха. Иначе я вамъ въ темномъ блескѣ являться стану».

## ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Я тогда ни за что не хотѣлъ, чтобы Сакенъ допускалъ, будто я простилъ и скрылъ полученную мною пощечину изъ-за того, чтобы мнѣ можно было на службѣ оставаться. Ужасная глупость! Не все ли это равно? Теперь это кажется смѣшно, а въ тогдашнемъ дикомъ состояніи я въ самомъ дѣлѣ полагалъ немножко свою честь въ такихъ пустякахъ, какъ постороннее мнѣніе... Ночей не спалъ: одну ночь въ караулѣ не спалъ, а потомъ три ночи не спалъ отъ волненія... Обидно было, что товарищи обо мнѣ пехорошо думаютъ, и что Сакенъ обо мнѣ пехорошо думаетъ! Надо, видите, такъ, чтобы все о насъ хорошо думали!..

Опять изъ-за этого всю ночь не спалъ, и на другой день всталъ рано и являюсь утромъ въ сакенскую пріемную. Тамъ были только еще одинъ аудиторъ, а потомъ и другіе стали собираться. Жужжать между собою потихонечку, а у меня знакомыхъ нѣтъ, — я молчу и чувствую, что сонъ меня клонитъ, — совсѣмъ нехотати. А глаза такъ и спинаются. И долго я тутъ со всѣми вмѣстѣ ожидалъ Сакена, потому что онъ въ этотъ день какъ нарочно не выходилъ: все у себя въ спальнѣ передъ чудотворной иконой молился. Онъ вѣдь былъ страшно богомоленъ: непременно каждый день читалъ утреннія и вечернія молитвы и три акафиста, а то иногда заидетел до безконечности. Случалось, до того уставалъ на колыняхъ стоять, что даже падать и на коврѣ ничкомъ лежалъ, а все молился. Мыкать ему, или какъ-нибудь перебить молитву считалось — Боже сохрани! На это, кажется, даже при штурмѣ никто бы не отважился, потому что помѣнать ему все равно, что дитя разбудить, когда оно не выспалось. Начнетъ кукситься и капризничать, и тогда его ничѣмъ не утѣкоишь. Адьютанты у него это знали, — иные и сами тоже были богомолы, — другіе при-

творялись. Онъ не разбираетъ и всѣхъ такихъ любезъ и поощрять.

Какъ только, бывало, онъ покажется, штабные сейчасъ различали, если онъ намолился, и тогда въ хорошемъ расположеніи, и всѣ бумаги песли. потому что, намолившись, онъ добръ и тогда все подпишетъ.

На мою долю какъ разъ такое счастье и досталось: какъ Сакенъ вышелъ ко всѣмъ въ пріемную, такъ одинъ опытный говоритъ мнѣ:

— Вы хорошо попали: нынче его обо всемъ можно просить: онъ теперь намолившись.

Я полюбозытствовалъ:

— Почему это замѣтно?

Опытный отвѣчаетъ:

— Развѣ не видите — у него колѣни бѣлѣются, и надъ бровями свѣтлыя пятнышки... какъ будто свѣтъ сіяетъ... Значить, будетъ ласковый.

Я сіянія надъ бровями не отличилъ, а панталоны у него на колѣняхъ, дѣйствительно, были побѣлѣвши.

Со всѣми онъ переговорилъ и всѣхъ отпустилъ, а меня оставилъ на самый послѣдъ и велѣлъ за собою въ кабинетъ идти.

«Ну, думаю, — тутъ будетъ развязка». И сонъ прошелъ.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Въ кабинетѣ у него большая икона въ дорогой ризѣ, на особомъ возвышеніи, и трисоставная лампада въ три огня горитъ.

Сакенъ прежде всего подошелъ къ иконѣ, перекрестился и поклонился въ землю, а потомъ обернулся ко мнѣ и говоритъ:

— Вашъ полковой командиръ за васъ заступаеся. Онъ васъ даже хвалитъ, — говоритъ, что вы были хорошиі офицеръ, но я не могу, чтобы васъ оставить на службѣ!

Я отвѣчаю, что я объ этомъ и не прошу.

— Не просите! Почему же не просите?

— Я знаю, что это нельзя, и не прошу о невозможномъ.

— Вы горды!

— Никакъ нѣтъ.

— Почему же вы такъ говорите — «о невозможномъ»? Французскій духъ! гордость! У Бога все возможно! Гордость!

— Во мнѣ нѣтъ гордости.

— Вздоръ!.. Я вижу. Все французская болѣзнь!.. своеволие!.. Хотите все по-своему сдѣлать!.. Но васъ я, дѣйствительно, оставить не могу. Надо мною тоже выше начальство есть... Эта ваша вольнодумная выходка можетъ дойти до государя... Что это вамъ пришла за фантазія!..

— Казакъ, говорю, — по дурному примѣру напился пьянъ до безумія и ударилъ меня безъ всякаго сознанія.

— А вы ему это простили?

— Да, я не могъ не простить!..

— На какомъ же основаніи?

— Такъ, по вліянію сердца.

— Гм!.. сердце!.. На службѣ прежде всего долгъ службы, а не сердце... Вы, по крайней мѣрѣ, раскаиваетесь?

— Я не могъ иначе.

— Значить, даже и не каетесь?

— Нѣтъ.

— И не жалѣете?

— О немъ я жалью, а о себѣ нѣтъ.

— И еще бы во второй разъ, пожалуй, простили?

— Во второй разъ, я думаю, даже легче будетъ.

— Вонъ какъ!.. вонъ какъ у насъ!.. солдатъ его по одной щекѣ ударилъ, а онъ еще другую готовъ подставить.

Я подумалъ: «Цыц! не смѣй этимъ шутить!» и молча посмотрѣлъ на него съ таковымъ выраженіемъ.

Онъ какъ бы смутился, но онять по-генеральски напѣтушился и задаетъ:

— А гдѣ же у васъ гордость?

— Я сейчасъ имѣлъ честь вамъ доложить, что у меня нѣтъ гордости.

— Вы дворянинъ?

— Я изъ дворянъ.

— И что же, этой... *noblesse oblige*... дворянской гордости у васъ тоже нѣтъ?

— Тоже нѣтъ.

— Дворянинъ безъ всякой гордости?

Я молчалъ, а самъ думалъ:

«Ну, да, ну, да: дворянинъ и безъ всякой гордости, — ну, что же ты со мной подѣлаешь?»

А онъ не отстаётъ — говоритъ:

— Что же вы молчите? Я вас спрашиваю объ этой — благородной гордости?

И опять промолчалъ, но онъ еще новторяетъ:

— Я опять спрашиваю о *благородной гордости*, которая овзышаетъ человека. Спрахъ велькъ «пещись объ имени моемъ...»

Тогда я, чувствуя себя уже какъ бы отставнымъ и по-тому человекомъ свободнымъ, отвѣтилъ, что я ни про какую благородную гордость ничего въ Евангеліи не встрѣчалъ, а читалъ про одну только гордость сатаны, которая ротивна Богу.

Сакенъ вдругъ отступилъ и говоритъ:

— Перекреститесь!.. Слышите: я вамъ приказываю, сейчасъ перекреститесь!

Я перекрестился.

— Еще разъ!

Я опять перекрестился.

— И еще... до трехъ разъ!

Я и въ третій разъ перекрестился.

Тогда онъ подошелъ ко мнѣ и самъ меня перекрестилъ, прошепталъ:

— Не надо про сатану! Вы вѣдь православный?

— Православный.

— За васъ воспріемники у купели отреклись отъ сатаны... отъ гордыни, и отъ всѣхъ дѣлъ его, и на него плюнули. Вы бунтовщикъ и отецъ лжи. Плюньте сейчасъ.

Я плюнулъ.

— И еще!

Я еще плюнулъ.

— Хорошенько!.. До трехъ разъ на него плюньте!

Я плюнулъ, и Сакенъ самъ плюнулъ и ногою растеръ. Всего сатану мы оплевали.

— Вотъ такъ!.. А теперь... скажите, того... Что же вы будете съ собою дѣлать въ отставку?

— Не знаю еще.

— У васъ есть состояніе?

— Нѣтъ.

— Не хорошо! Родственники со связями есть?

— Тоже нѣтъ.

— Скверно! На кого же вы надѣетесь?

— Не на князѣи и не на сыновъ человѣческихъ: воровѣй не пропадаеть у Бога, и я не пропаду.

— Ого-го, какъ вы, однако, начитаны!.. Хотите въ монахи?

— Никакъ нѣтъ, — не хочу.

— Отчего? Я могу написать Иннокенгію.

— Я не чувствую призванія въ монахи.

— Чего же вы хотите?

— Я хочу только того, чтобы вы не думали, что я умолчалъ о полученномъ мною ударѣ изъ-за того, чтобы остаться на службѣ: я это сдѣлалъ просто...

— Спасти свою душу! Понимаю васъ, понимаю! я вамъ потому и говорю: идите въ монахи.

— Нѣтъ, я въ монахи не могу, и спасти свою душу не думалъ, а просто я пожалѣлъ другого человѣка, чтобы его не били на смерть палками.

— Наказаніе бываетъ человѣку въ пользу. «Любяи наказуетъ». Вы не дочитали... А, впрочемъ, мнѣ васъ все-таки жалко. Вы пострадали!.. Хотите въ комиссаріатскую комиссію?

— Нѣтъ, благодарю покорно.

— Это отчего?

— Я не знаю, право, какъ вамъ объ этомъ правдивѣе доложить... я туда неспособенъ.

— Ну, въ провіанты?

— Тоже не могу.

— Ну, въ цейхвартеры! — тамъ случается, бываютъ люди и честные.

Такъ онъ меня этимъ своимъ разговоромъ отяготилъ, что я просто будто намагнитизировался и спать хочу до самой невозможности.

А Сакеиъ стоитъ передо мною, — и мѣрно, въ тактъ головою покачиваетъ и, загиная одною рукою пальцы другой руки, вычисляетъ:

— Въ Писаніи начитаны; благородной гордости не имѣть; по лицу бить; въ комиссаріатъ не хочетъ; въ провіантскіе не хочетъ и въ монахи не хочетъ! Но я, кажется, понялъ васъ, почему вы не хотите въ монахи: вы влюблены?

А мнѣ только спать хочется.

— Никакъ нѣтъ, говорю: — я ни въ кого не влюбленъ.

— Жениться не намѣрены?

— Нѣтъ.

— Отчего?

— У меня слабый характеръ.

— Это видно! Это сразу видно! Но что же вы застѣнчивы, — вы боитесь женщинъ... да?

— Нѣкоторыхъ боюсь.

— И хорошо дѣлаете! Женщины суетны и... есть очень злая, но вѣдь не всѣ женщины злы и не всѣ обманываютъ.

— Я самъ боюсь быть обманщикомъ.

— То-есть... Какъ?.. Для чего?

— Я не надѣюсь сдѣлать женщину счастливой.

— Почему? Боитесь несходства характеровъ?

— Да, говорю, — женщина можетъ не одобрять то, что я считаю за хорошее, и наоборотъ.

— А вы ей докажете.

— Доказать все можно, но отъ этого выходятъ только споры и человекъ дѣлается хуже, а не лучше.

— А вы и споровъ не любите?

— Терпѣть не могу.

— Такъ ступайте же, мой милый, въ монахи! Что же вамъ такое?! Вѣдь вамъ въ монахахъ отлично будетъ съ вашимъ настроеніемъ.

— Не думаю.

— Почему? Почему не думаете-то? Почему?

— Призванія нѣтъ.

— А вотъ вы и ошибаетесь — прощать обиды, безбрачная жизнь... это и есть монастырское призваніе. А дальше что же еще остается трудное? — мяса не ѣсть. Этого, что ли, вы боитесь? Но вѣдь это не такъ строго...

— Я мяса совсѣмъ никогда не ѣмъ.

— А зато у нихъ прекрасныя рыбы.

— Я и рыбы не ѣмъ.

— Какъ, и рыбъ не ѣдите? Отчего?

— Мнѣ непріятно.

— Отчего же это можетъ быть непріятно — рыбъ ѣсть?

— Должно-быть, врожденное — моя мать не ѣла тѣлъ убитыхъ животныхъ и рыбъ тоже не ѣла.

— Какъ странно! Значитъ, вы такъ и ѣдите одно грибное да зеленъ?

— Да, и молоко, и яйца. Мало ли еще что можно ѣсть!

— Ну, такъ вы и сами себя не знаете: вы природный монахъ, вамъ даже схиму дадутъ. Очень радъ! Очень радъ! Я вамъ сейчасъ дамъ письмо къ Иннокентію!

— Да я, ваше сіятельство, не пойду въ монахи!

— Нѣтъ, пойдете, — такихъ, которые и рыбъ не ѣдятъ, очень мало! вы схимникъ! Я сейчасъ напишу.

— Не извольте писать: я въ монастырь жить не пойду. — Я желаю ѣсть свой трудовой хлѣбъ въ потъ своего лица.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Сакенъ наморщился.

— Это, говорить, — вы Библии читались, — а вы Библии-то не читаете. Это англичанамъ идетъ: они недоуѣрки и кривотолки. Библия опасна, — это мірская книга. Человѣкъ съ аскетическимъ основаніемъ долженъ ея избѣгать.

«Фу ты, Господи! думаю. — Что же это за мучитель такой!»

И говорю ему:

— Ваше сіятельство! я уже вамъ доложилъ: во мнѣ нѣтъ никакихъ аскетическихъ основаній.

— Ничего, идите и безъ основаній! Основанія послѣ придутъ; всего дороже, что у васъ это врожденное: не только мяса, а и рыбы не ѣдите. Чего вамъ еще!

Умолкаю! Рѣшительно умолкаю и думаю только о томъ: когда же онъ меня отъ себя вынудитъ, чтобы я могъ спать.

А онъ возлагаетъ мнѣ руки на плечи, смотритъ долго въ глаза и говоритъ:

— Милый другъ! вы уже призваны, но только вамъ это еще непонятно!..

— Да, отвѣчаю, — непонятно!

Чувствую, что мнѣ теперь все равно, — что я вотъ-вотъ сейчасъ тутъ же, стоя, усну — и потому инстинктивно отвѣтилъ:

— Непонятно.

— Ну, такъ помолимся, говорить, — вмѣстѣ поусерднѣе вотъ передъ этимъ ликомъ. Этотъ образъ былъ со мною во Франціи, въ Персіи и на Дунаѣ... Много разъ я передъ нимъ упадалъ въ недоумѣніи и когда вставалъ — мнѣ было все ясно. Становитесь на коврѣ на колѣни и земной поклонъ... И начинаю.

Я сталъ на колѣни и поклонился, а онъ зачиталъ умиленнымъ голосомъ: «Совѣтъ превѣчный открывая Тебѣ»...

А дальше я уже ничего не слышать, а только почувдилось мнѣ, что я, какъ дошелъ лбомъ до ковра,—такъ и пошелъ свайкой спускаться внизъ. куда-то все глубже къ самому центру земли.

Чувствую, что-то не то, что нужно: мнѣ бы нужно куда-то легкимъ перомъ вверхъ, а я иду свайкой внизъ туда, гдѣ по словамъ Гёте «первообразы кипятъ, — клокочуть зиздящія силы». А потомъ и не помню уже ничего.

Возвращаюсь опять отъ центра къ поверхности не скоро и ничего не узнаю: трисоставная лампада горитъ, въ окнахъ темно, впереди меня на томъ же коврѣ какой-то генераль клубочкомъ свернувшись спать.

— Что это такое за мѣсто?—заспалъ и замятовалъ.

Потихонечку поднимаюсь, сажусь и думаю: гдѣ я?—Что это генераль въ самомъ дѣлѣ, или такъ кажется... Потрогалъ его... ничего—парной, теплый и смогрю—и онъ просыпается и шевелится... И тоже съѣлъ на коврѣ и на меня смотреть... Потомъ говоритъ:

— Что вижу?.. Фигура!

— Я отвѣчаю:—точно такъ.

Онъ перекрестился и мнѣ велѣлъ.

— Перекрестись!

Я перекрестился.

— Это мы съ вами вмѣстѣ были?

— Да-съ.

— Каково!

Я промолчалъ.

— Какое блаженство!

Не понимаю, въ чемъ дѣло, но, къ счастью, онъ продолжаетъ:—видѣли, какая сватыня!

— Гдѣ?

— Въ раю!

— Въ раю? Нѣтъ, говорю,—я въ раю не былъ и ничего не видалъ.

— Какъ не видалъ! Въдь мы вмѣстѣ летали... Туда... вверхъ!

Я отвѣчаю, что я летать летать, но только не вверхъ, а внизъ.

— Какъ внизъ?

— Точно такъ.

— Внизъ?

— Точно такъ.

— Внизу адъ!

— Не видалъ.

— И ада не видалъ?

— Не видалъ.

— Такъ какой же дуракъ тебя сюда пустилъ?

— Графъ Остенъ-Сакенъ.

— Это я графъ Остенъ-Сакенъ.

— Теперь, говорю, — вижу.

— А до сихъ поръ и этого не видалъ?

— Прошу прощенія. говорю, — мнѣ кажется, будто я спалъ.

— Ты спалъ!

— Точно такъ.

— Ну, такъ пошелъ вонъ!

— Слушаю, говорю, — но только здѣсь темно — я не знаю, какъ выйти.

Сакенъ поднялся, самъ открылъ мнѣ дверь и самъ сказалъ:

— Zum Teufel!

Такъ мы съ нимъ и простились. хотя нѣсколько сухо, но его ко мнѣ милости этимъ не кончились.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Я былъ совершенно спокоенъ, потому что зналъ, что мнѣ всего дороже — это моя воля, возможность жить по одному завѣту, а не по нѣсколькимъ, не спорить, не поддѣлываться и никому ничего не доказывать, если ему не явлено свыше, — и я зналъ, гдѣ и какъ можно найти такую волю. Я не хотѣлъ рѣшительно никакихъ службъ, ни тѣхъ, гдѣ нужна благородная гордость, ни тѣхъ, гдѣ можно обходиться и безъ всякой гордости. Ни на какой службѣ человѣкъ самъ собой быть не можетъ, онъ долженъ впередъ не обѣщаться, а потомъ исполнять, какъ обѣщавъ, а я вижу, что я порченный, что я ничего обѣщать не могу, да и не смѣю, и не долженъ. потому что суббота для человѣка, а не человѣкъ для субботы... Сердце сжалится, и я не могу обѣщанія выдержать: увижу страданіе и не выстою... я измѣню субботу! На службѣ надо имѣть клятвенную твер-

дось и умѣть самого себя заговаривать, а у меня этого дарованія нѣтъ. Мнѣ надо что-нибудь самое простое... Перебиралъ я, перебиралъ, — что есть самое простое, гдѣ не надо себя заговаривать, и рѣшилъ, что лучше пахать землю.

По меня, однако, ждала еще награда и по службѣ.

Передъ самымъ моимъ выѣздомъ полковникъ объявляетъ мнѣ:

— Вы не безъ пользы для себя съ Дмитріемъ Ерошечемъ повидались. Онъ тогда былъ съ утра прекрасно намолвившись, и еще съ вами, кажется, молился?

— Какъ же, отвѣчаю,—мы молились.

— вмѣстѣ въ блаженные селенія парили?..

— То-есть... какъ это вамъ доложить...

— Да, вы— большой политикъ! Знаете, вы и достигли.— вы ему очень понравились; онъ вамъ велѣлъ сказать, что особымъ путемъ вамъ пенсію выпросить.

— Я. говорю,—пенсии не выслужилъ.

— Ну, ужъ это теперь расчислять поздно,—ужъ отъ него пошло представленіе, а ему не откажутъ.

Вышла мнѣ пенсія по тридцати шести рублей въ годъ, и я ее до сихъ поръ по этому случаю получаю. Солдаты со мною тоже хорошо простились.

— Ничего, говорили.—мы, ваше благородіе, вами довольны и не плачемся. Намъ все равно, гдѣ служить. А вамъ бы, ваше благородіе, мы желали, чтобы къ намъ въ попы достигнуть и благословлять на полѣ сраженія.

Тоже доброжелатели!

А я вмѣсто всего ихняго доброжеланія вотъ эту господку купилъ... Невелика господка, да добра... Можетъ и Катря еще на ней буде съ мужемъ господуроваты... Бѣдна Катруся! Я ее съ матерью подъ тополями Подолнискаго сада нашель... Мать хотѣла ее на чужія руки кинуть, а сама къ какой-нибудь пани въ мамки идти. А я вывѣрився, да говорю ей:

— Чи ты съ самага роду такъ дурна, чи ты сумасшедшая! Що тобі такэ поднялось, щобъ свою дытину покинути, а паньскихъ своимъ молокомъ годувати! Нехай ихъ яка пани породила, та сама и годуеть: такъ отъ Бога показано, — а ты ходы впрость до минэ, та пильнуи свою дытину.

Она встала,—подобрала Катрю въ трипочки и пошла.—  
каже:

— Пиду, куды мнѣ доля моя ведѣ!

Такъ вотъ и живемъ. и поле оремъ, и сіемъ. а чего  
нѣма, о томъ не скучаемъ—бо всѣ люди просты: мать си-  
рота, дочка мала. а я битый офицеръ, да еще и безъ усякой  
благородной гордости. Тифу, яка пропанаца фигура!

По моимъ свѣдѣніямъ, Фигура умеръ въ концѣ пятидеся-  
тыхъ плн въ самомъ началѣ шестидесятыхъ годовъ. О немъ  
я не встрѣчалъ въ литературѣ никакихъ упоминаній.

---

РАЗСКАЗЫ КСТАТИ.



# СОВМѢСТИТЕЛИ.

БУКОЛИЧЕСКАЯ ПОВѢСТЬ НА ИСТОРИЧЕСКОЙ КАНВѢ.

«Родъ сей ипчѣмъ же изимается».

Совмѣстительство у насъ есть очень старое и очень важное зло. Даже когда по существу какъ-будто ипчему не мѣшается, оно все-таки составляетъ зло,—говорилъ нѣкоторый знатный и правдивый человекъ и при этомъ разсказалъ слѣдующій, по моему мнѣнью, не безынтересный анекдотическій случай изъ стараго времени. — Дѣло идетъ о бывшемъ министрѣ финансовъ, извѣстномъ графѣ Канкринѣ. Я записалъ этотъ разсказъ подъ свѣжимъ впечатлѣнiемъ, прямо со словъ разсказчика и такъ его здѣсь и передамъ, почти тѣми же словами, какъ слышалъ.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Графъ Канкринъ былъ дѣловитъ и уменъ, но любилъ поволочиться. Тогда было, впрочемъ, такое время, что всѣ волочились. Даже впоследствии это перешло какъ бы въ преданiе по финансовому вѣдомству, и покойный Вронченко тоже былъ превеликiй ухаживатель: только въ этомъ игры и любезности той не было, какъ въ Канкринѣ \*). Такое господствовало настроенiе: жизнь играла у гробового входа.

И тѣ, кому волокитство уже ни на что не нужно было,

\*) Графъ Егоръ Франповичъ Канкринъ род. 1774 г., состоялъ генералъ-интендантомъ въ 1812 г., а съ 1823 года министромъ финансовъ. Умеръ въ 1846 г. Былъ отличный финансистъ и извѣстенъ также какъ писатель; писалъ на нѣмецкомъ языкѣ.

и они все-таки старались не отставать отъ сверстниковъ.

Если не для чего-нибудь, то хоть для порядка или приличія всё имѣли дамъ на понеченіи. Въ самой большой модѣ были танцовки или цыганки, но иногда и другія особы соотвѣтственнаго значенія. И притомъ никто почти не скрывалъ свои грѣшники, а нерѣдко даже желали ихъ огласки. Это давало случай въ обществѣ подшучивать надъ «старыми грѣшниками». О нихъ рассказывали разные смѣшные анекдоты, а это дѣлало грѣшникамъ извѣстность и рекомендовало ихъ какъ добрыхъ и забавныхъ все-гарсоновъ.

Случалось, что имя грѣшника вспоминалось съ какою-нибудь веселою шуткою при такихъ лицахъ, что это воспоминающему было полезно, и этимъ дорожили и умѣли обращать себя въ выгоду.

Были даже такіе старички, которые сами про себя нарочно сочиняли смѣшныя любезныя исторійки и доходили въ этомъ до замѣчательной виртуозности. Позднѣйшіе критики, не знавшіе хорошо дѣйствительности прошлой жизни, приписали нигилистической порѣ стремленіе «пить втроемъ утренній чай»: но это несправедливо. Все это было извѣстно гораздо раньше появленія нигилистовъ и производилось гораздо крупнѣе, но только тогда на это былъ другой взглядъ, и «чай втроемъ» не получалъ тенденціозныхъ истолкованій.

А что старички въ то время очень, очень шалили и что грѣшники ихъ забавляли общество—это вы можете видѣть по театральному репертуару. Тогда нерѣдко такъ съ кого-нибудь прямокомъ и писали пьесы. Напримѣръ, «Новички въ любви», или «Его превосходительство или средство нравиться»—это все съ натуры. Теперь всѣхъ этихъ пьесъ уже и названій не припомнимъ, а тогда бывало выведенныхъ лицъ по именамъ въ театрѣ называли и смѣялись. Многіе актеры, особенно Мартыновъ, бывало нарочно гримировались и конпровали на сценѣ того, въ кого мѣтили. Былъ даже одинъ такой случай, что нѣкто, имѣвшій желаніе о себѣ напомнить, самъ избралъ для этого театръ и самъ пріѣзжалъ къ Мартынову съ просьбою—«нельзя ли такъ представить, чтобы его лицо узнали». Мартыновъ надъ этимъ просителемъ подсмѣялся: онъ ему не отказалъ, но что-то такое какъ-то прикрасилъ по-своему и чуть-чуть не повредишь почтенному человѣку. Впрочемъ, дѣло обошлось,

и тотъ возобновилъ себя у кого желалъ въ памяти и получилъ солидную должность.

Въ министерствѣ финансовъ тогда собралась компанія очень большихъ волокитъ, и самъ министръ считался въ этой компаніи не послѣднимъ. Любимыхъ грѣшковъ у графа Канкринна, какъ у очень умнаго человѣка, съ очень живою фантазіей, было много, но къ той порѣ, когда подошелъ комическій случай, о которомъ теперь наступаетъ рассказъ, графъ уже былъ въ упадкѣ тѣлесныхъ силъ и не совсѣмъ охотно, а болѣе для одного приличія вель знакомство съ нѣкоторой барынькой полунинтендантскаго происхожденія.

Среди интендантовъ графъ Канкринъ былъ очень извѣстенъ по его прежней службѣ, а можетъ быть и по его прежней старательности въ ухаживаніяхъ за смазливими дамочками, или, какъ онъ ихъ называлъ, «жолн мордочками». Это совсѣмъ не то, что Тургеневъ называетъ въ своихъ письмахъ *мордемондін*. «Мордемондін» — это начинная противность, а «жолн-мордочка» — это была прелесть.

Притомъ, я не знаю, какъ это кажется вамъ, а я въ этомъ названіи слышу что-то веселое, молодое и беззаботное и въ словѣ «жолн-мордочка» не вижу ничего ни грубаго, ни обиднаго для прекраснаго пола.

Въ оное былое время, когда графъ интендантствовалъ, «жолн-мордочки» его сильно занимали и не мало ему стоили; но въ ту пору, до которой доходитъ мой рассказъ, онъ уже только «соблюдалъ приличія круга» и потому сталъ и расчислитель, и лѣнивъ въ оказательствахъ своего вниманія дамѣ.

А состоявшая въ это время при немъ «жолн-мордочка» была, какъ на грѣхъ, особа съ нѣкоторымъ образованіемъ и очень живого характера: она требовала вниманія, сердилась, капризничала, дѣлала ему сцены и вообще хотѣла, чтобы онъ ею занимался и какъ-нибудь ее развлекалъ. Графъ же былъ и старъ, и очень занятъ, да и по положенію своему онъ не могъ удовлетворять эти требованія. А потому, поступая въ духѣ времени, онъ очень желалъ, чтобы часть заботъ о развлеченіи молоденькой особы понесъ кто-нибудь другой. Это тогда не только допускалось, но даже и патронировалось. Одно лишь было въ условіяхъ этикета, чтобы совмѣститель былъ человѣкъ съ тактомъ и не ронялъ значенія главенствующаго лица, или патрона.

Такимъ дамамъ позволяли появляться съ ихъ адъютантами, гдѣ можно, въ общественныхъ мѣстахъ, и это никому не вредило, потому что отъ этого шельхъ хорошій говоръ: «Вотъ-де князь NN надуваетъ графа ZZ». А совсѣмъ никакого надувательства ни съ чьей стороны и не было,—все было съ общаго согласія, но только черезъ хорошаго «аташе» больше прославлялось имя патрона. Старичокъ бывало заѣдетъ утромъ, чашку кофе или шоколада выпьетъ и уѣдетъ и денегъ начку оставитъ, а послѣ визита прѣзжаетъ совмѣститель, и идетъ счастливое сопровождающее время.

Но нынѣшняя «жолн-мордочка» графа была капризница и дикарка: она ни съ кѣмъ не знакомилась и тѣмъ ужасно обременяла графа непрерывными претензіями.

Онъ хотѣлъ отношений болѣе удобныхъ, а она скучала и совсѣмъ другое пѣла.

— Я, говорить, — такъ безъ участія сердца жить не могу, — я понимаю только одни серьезные отношенія.

Графъ ей нѣсколько разъ представлялъ, что ему невозможно сидѣть у нея и оказывать «участіе сердца», а она говорила:

— Идѣть, вы должны. Пойдемъ погуляемъ; я вамъ что-нибудь прочитаю или поиграю.

Ни за что не хотѣла понять, что ему, какъ министру, это неудобно. Онъ и озаботился помирить ея требованія какъ-нибудь иначе, и сдѣлалъ въ этомъ направленіи очень находчивый и смѣлый шагъ; но только съ хлопотами его вышелъ пресмѣшной казусъ.

## ГЛАВА ВТОРАЯ.

Графъ жилъ лѣтомъ въ Лѣсномъ, который тогда считался очень хорошимъ дачнымъ мѣстомъ. Ганкринъ самъ, вѣдь, и положилъ начало здѣшнему заселенію и всегда Лѣсному покровительствовалъ.

Оттого, можетъ-быть, здѣсь и послѣ долго жили директоры изъ министерства финансовъ, но только это ужъ не то. Славы Лѣсного они не поддержали — она пала невозвратно. Даму свою Ганкринъ помѣстилъ отъ себя въ сторонкѣ, именно въ Новой Деревнѣ, гдѣ тогда тоже было еще довольно чистенько и прилично. На здѣшнихъ дачахъ помѣщалось большинство пѣжкихъ особъ, имѣвшихъ имени-

тыхъ понечителей. Дачи этихъ дамъ, бывало, замѣтны, и опытный глазъ сейчасъ ихъ узнавалъ по хорошимъ, густымъ занавѣскамъ и по тому, что изъ нихъ чаще всего слышалось пѣніе куплетовъ:

«Въ васъ, конечно, нѣтъ дурного,  
«Только.—право не въ упрекъ,—  
«Нѣтъ ли гдѣ-нибудь сѣдого?  
«Что-съ?»

а хоръ отвѣчаетъ:

«Водится грѣшокъ!  
«Водится грѣшокъ!»

Весело, очень весело жилось! И куда только все это ушло и куда миновалось съ усиленіемъ разночинца!..

Какъ пошли пѣть подь бряцаніе: «Ты, душа-ль моя, красна дѣвица! Ты, звѣзда-ль моя, ненаглядная», — такъ игривый куплетъ изъ комнатнаго пѣнія и вывелся.

«Всякой вещи свое время подь солнцемъ», — даже и куплету.

Такъ пройдетъ и оперетка, съ которою нынче напрасно борются.

Все пройдетъ когда-нибудь въ свое время.

Канкринъ посѣщалъ свою пустыньницу всегда верхомъ и всегда безъ провожатаго; но серьезный служебный недосугъ мѣшалъ ему дѣлать эти посѣщенія такъ часто, какъ желала его неудобная, по серьезности своихъ требованій, «жолн-мордочка». И выходило у нихъ худо: та скучала и капризничала, а онъ, будучи обремененъ государственными вопросами и литературой, никакъ не могъ угодить ей. Сцены она умѣла дѣлать такія, что графъ даже сталъ бояться одинъ къ ней ѣздить.

Рядомъ же съ дачей графа Канкринна въ Лѣсномъ въ это лѣто поселился молодой, умный, прекрасно образованный и очень въ свое время красивый гвардейскій кавалеристъ П. Н. К.—шинъ. Онъ былъ изъ дворянъ нашей Орловской губерніи, и я зналъ его отца и весь родъ этихъ К.—шиныхъ: всѣ были преумны и прекрасны, этакіе бравые, рослые, черноглазые,—просто молодцы.

Этотъ интересный сосѣдь графа, несмотря на свои молодые годы и на военное званіе, съ представленіемъ о которомъ у насъ соединяется понятіе о склонности къ раз-

веселому житью, вель жизнь самую уединенную. — онъ все домосѣдничалъ и читалъ книги или игралъ на скрипкѣ.

Игра на скрипкѣ и обратила на него вниманіе графа, который тоже былъ музыкантъ и притомъ очень не плохой музыкантъ. Графъ игралъ на скрипкѣ въ темной комнатѣ, примыкавшей къ его кабинету, который былъ тоже полутемнень, потому что окна его были заслонены деревьями и кромѣ того заставлены рамками, на которыхъ была натянута темнозеленая марли.

Офицеръ заиграетъ, а графъ положить перо и слушаетъ и, заинтересовавшись имъ, спрашиваетъ одинъ разъ у своего латыша-камердинера:

— Кто это, братецъ, возлѣ насъ такъ хорошо играетъ? Тотъ отвѣчаетъ:

— Офицеръ какой-то, ваше сіятельство.

— Да кто же онъ такой,—онъ какого полка?

Камердинеръ говоритъ:

— Я не знаю.

— Ну, такъ я тебѣ приказываю: разузнай и доложи мнѣ.

Камердинеръ все разузналъ и вечеромъ, когда сталъ раздѣвать графа, докладываетъ ему, что сосѣдъ ихъ—молодой, одинокій офицеръ самага щегольского кавалерійскаго полка, человѣкъ очень достаточный, а живетъ скромно. Графу это понравилось. Молодой человѣкъ и военный, если онъ все сидитъ дома да читаетъ, то нещремѣнно, должно быть, онъ человѣкъ интересный и нравственный. Вѣтреникъ или гуляка не выдержалъ бы, онъ бы все бѣгалъ да на глазахъ мотался. У графа что-то на сонъ грядущій и замелькало въ мечтахъ, а утромъ, только-что графъ просыпается, — офицеръ уже на самой тонкой струнѣ выводитъ какую-то самую забористую Паганиниевскую нотку.

«Ишь, однако, какой онъ досужій, этотъ офицерикъ!» подумалъ графъ, и ему захотѣлось посмотреть на сосѣда. А тотъ какъ разъ подошелъ и сталъ со скрипкою у окна.

Камердинеръ говоритъ:

— Извольте, ваше сіятельство, смотрѣть: господинъ офицерикъ весь теперь въ виду вашемъ.

Графъ взглянулъ и отвѣчаетъ камердинеру:

— Ты, братецъ, дуракъ. Развѣ это «офицерикъ»? Это цѣлый офицеръ, да еще, пожалуй, даже офицерница!

И графу захотѣлось съ этимъ сосѣдомъ познакомиться.

На слѣдующій же день, когда молодой офицеръ возвращался съ купанья и проходилъ мимо ограды сада графа Канкринна, тотъ стоялъ у своей рѣшетки и заговорилъ съ нимъ.

— Извините меня, поручикъ, — это вы такъ хорошо играете на скрипкѣ?

— Да, я играю, ваше сіятельство. Не смѣю думать, чтобы я игралъ хорошо, но прошу у васъ извиненія, если безпокою васъ моею игрою. Я, впрочемъ, старался узнать время, когда я могу не нарушать вашего покоя.

— О, нѣтъ, нѣтъ, нисколько. Сдѣлайте милость, играйте! Я самъ играю и прошу васъ покорно—познакомимтесь. И у жены моей тоже собираются Климрегеі. Приходите ко мнѣ запросто, по-сосѣдски, и мы съ вами вмѣстѣ поиграемъ.

Молодой человѣкъ поклонился, а графъ указалъ часы, когда его удобно посѣщать запросто, «по-сосѣдски», и они разстались.

Кавалеристъ поблагодарилъ графа и очень умно воспользовался его приглашеніемъ. Онъ пришелъ къ графу не очень скоро и не черезчуръ долго, а какъ того требовали вѣжливость и уваженіе къ лицу Канкринна, человѣка дѣйствительно замѣчательнаго—и по уму, и по дѣятельности, и по таланту.

Въ два визита молодой, умный поручикъ чрезвычайно расположилъ къ себѣ министра. Графъ съ удовольствіемъ любовался прекраснымъ молодымъ человѣкомъ и втайнѣ возымѣлъ на него свой планъ. Офицеръ ему казался какъ разъ такимъ человѣкомъ, съ которымъ онъ могъ завоевать себѣ—если не область міра, то нѣкоторую долю весьма желательнаго покоя. Короче и проще говоря, графъ былъ увѣренъ, что его безпокойная дама съ серьезными взглядами и требованіями непременно этимъ молодымъ человѣкомъ заинтересуется. Стоитъ лишь ихъ познакомить—и они станутъ вмѣстѣ читать и разыгрывать дуэты, а ему, старичку, будетъ отдыхъ. И вотъ, когда офицеръ еще разъ навѣстилъ Канкринна, министръ и сказалъ ему:

— Ахъ, поручикъ, какой сегодня хорошій день. Мнѣ совсѣмъ не хочется сидѣть дома и читать мои скучныя бумаги. Я бы съ большимъ удовольствіемъ проѣхался верхомъ, а отъ васъ зависитъ сдѣлать мнѣ эту прогулку еще пріятнѣе.

Тотъ говоритъ:

— Я къ вашимъ услугамъ, но только спрашиваетъ. — какимъ образомъ онъ можетъ увеличить это удовольствіе.

— А вотъ, — отвѣчаетъ графъ: — прикажите-ка, чтобы вамъ осѣдлали вашу лошадь да привели ее сюда и поѣдемте вмѣстѣ.

Офицеръ съ удовольствіемъ согласился. Приказаніе было немедленно отдано и исполнено: верховыя лошади подведены къ крыльцу, и графъ съ молодымъ человѣкомъ сѣли и поѣхали.

День былъ дѣйствительно прекрасный, располагающій человѣка хорошо себя чувствовать и весело болтать.

Канкринъ былъ въ своемъ обыкновенномъ, длиннополномъ военномъ сюртукѣ съ краснымъ воротникомъ, въ большихъ темныхъ очкахъ съ боковыми зелеными стѣклами и въ галошахъ, которыя онъ носилъ во всякую погоду и часто не снималъ ихъ даже въ комнатѣ. На головѣ графъ имѣлъ военную фуражку съ большимъ козырькомъ, который отъ-нялъ все его лицо. Онъ вообще одѣвался чужакомъ и, несмотря на тогдашнюю строгость въ отношеніи военной формы, позволялъ очень большія отступленія и льготы. Государь этого какъ бы не замѣчалъ, а прочіе и не смѣли замѣчать.

Всадники ѣхали довольно долго молча, но, несмотря на это молчаніе, видно было, что графъ чувствуетъ себя очень въ духѣ. Онъ не разъ улыбался и весело поглядывалъ на своего спутника, а потомъ, у одного поворота вправо къ тогдашней опушкѣ лѣса, остановилъ лошадь и сказалъ:

— А знаете ли что, поручикъ: не заѣдемъ ли мы съ вами къ одной прехорошенькой дамочкѣ.

Молодой человѣкъ немного сконфузился отъ этой неожиданности и проговорилъ, что онъ не знаетъ—ловко ли это будетъ съ его стороны пріѣхать незванымъ въ незнакомый домъ.

— О, не безпокойтесь, — отвѣчалъ графъ. — Вы уже во всемъ этомъ положитесь на меня. Я, конечно, знаю, куда васъ приглашаю. Это, я вамъ скажу, премилая молодая особа, и держитъ себя совсѣмъ безъ глупыхъ церемоній. Мы съ нею давно друзья, и вы, я увѣренъ, непременно захотите съ нею подружиться. Она довольно умна и прехорошенькая. По своимъ семейнымъ обстоятельствамъ она живетъ совершенно одна—монастыркой и очень часто сгу-

часть. Это ее единственный, можно сказать, недостаток. Мы придемъ очень кстати, и вы увидите, какъ она мило намъ обрадуется и встрѣтитъ насъ à bras-ouvert.

— Въ такомъ случаѣ, я въ вашемъ распоряженіи,—отвѣчалъ офицеръ.

— Ну, вотъ и прекрасно!—воскликнулъ графъ.—А эта милая дама и живетъ отсюда очень недалеко—въ Новой Деревнѣ, и дача ее какъ разъ съ этой стороны. Мы подъѣдемъ къ ея домику такъ, что насъ рѣшительно никто и не замѣтитъ. И она будетъ удивлена и обрадована, потому что я только вчера ее навѣщалъ, и она затомила меня жалобами на тоску одиночества. Вотъ мы и явимся ее всеслыть. Теперь пустимъ коней рысью и черезъ четверть часа будемъ уже нить шоколадъ, сваренный самыми безподобными ручками.

Офицеръ молча поклонился.

— Да, да,—продолжалъ Канкринъ.—Вы не думайте, что это одни слова. Такихъ другихъ ручекъ не скоро отыщете. Лавальеръ дорого дала бы, чтобы имѣть такія ручки, потому что ихъ-то ей и недоставало, но у этой госпожи ни въ чемъ нѣтъ недостатка. Ну, давайте повода, и мы сейчасъ будемъ тамъ.

Поводья даны, и путники приѣхали такъ скоро, какъ обѣщалъ Канкринъ. И другое его соображеніе тоже оказалось вѣрно: при приближеніи ихъ къ дачкѣ, обитаемой прелестною дамою, ихъ дѣйствительно никто не замѣтилъ. На маленькомъ дворикѣ была тишина,—только чьи-то нестрѣнкія цесарскія куры похаживали и дѣлали свойственные имъ фальшивыя движенія головами изъ стороны въ сторону,—точно онѣ на кого-то кивали. Разрисованныя шторы съ пестушками и деревьями были опущены до низу, и изъ-за одной изъ нихъ выглядывала морда сытаго рыжаго кота, но сама милая пустынинца была нигдѣ не замѣтна и не свѣшила à bras-ouvert навстрѣчу графу.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Черезъ минуту приѣздъ гостей былъ, однако, замѣченъ и произвелъ смятеніе въ маленькомъ домикѣ. Владѣтельница обитательница дачи не показалась, а ея служанка взглянула въ окно и тотчасъ же быстро снова исчезла. Запертую изнутри дверь открыли не совсѣмъ скоро, и вышедшая на-

встрѣчу гостямъ дѣвушка заговорила второпяхъ, что «барышня» нездорова, а она оберегала ее, чтобъ было тихо, и сама заснула.

Графъ спросилъ:

— Чѣмъ Марья Степановна нездорова?

— Зубки у нихъ болятъ,— всю ночь не спали.

— А-а, зубки! Надо заговорить ей зубки.

Канкринъ входилъ въ комнату, громко стуча своими галошами, а его спутникъ слѣдовалъ молодой, легкой поступью за нимъ.

Горничная еще больше обезпокоилась и стала говорить:

— Осмѣлюсь доложить... Онѣ сейчасъ выйдутъ, и имъ уже сказала, что вы пожаловали, и онѣ одѣваются распашошку.

Образованіе тогда еще было распределено такъ неравно, что многія горничныя не употребляли иностранное слово «пешьюаръ», а называли по-русски «распашонка».

— Ну, такъ мы подождемъ, пока она одѣнется,—отвѣчала графъ, и не пошелъ далѣе, а спокойно сѣлъ на широкое оттоманѣ и пригласилъ сѣсть офицера: Садитесь, поручикъ. Не стѣсняйтесь,—я вѣсь увѣряю, что мы будемъ хорошо приняты.

Онъ понизилъ голосъ и, наклонясь къ уху собесѣдника, добавилъ:

— Она немножко съ дункомъ,—какъ и всѣ хорошенькія женщины,—но это ровно ничего не значитъ: миленькимъ женщинамъ все простить можно. Притомъ же надо имѣть снисхожденіе къ ея положенію. Какъ хотите, а оно немножко неправильно и уязвляетъ ее самолюбіе. Конечно, она ни въ чемъ не нуждается, но это все не то, что она намѣчала въ своихъ мечтаніяхъ. Она дочь почтеннаго человека и образована, притомъ мечтательна. Она прекрасно умѣетъ разсказать свою исторію и вѣрно когда-нибудь вамъ ее разскажетъ. О, она пренеприятная и любитъ «участіе сердца».

И графъ сообщилъ кое-что о странностяхъ живого и смѣлаго характера Марьи Степановны. Она жила въ фаворѣ и на свободѣ у отца, потомъ въ имѣніи у бабушки, отчаянно фидитъ верхомъ, какъ наездница, стрѣляетъ съ сѣдла и прекрасно играетъ на бильярдѣ. Въ ней есть немножко дикарки. Петербургъ ей въ тягость, особенно какъ она здѣсь

лишена живого сообщества равныхъ ей людей, — и ужасно скучаетъ.

— Но вы понимаете, — продолжалъ графъ: — что, послѣ утомленія однообразіемъ характеровъ нашихъ свѣтскихъ «кавалеръ-дамъ», этакое живое существо — оно, чортъ возьми, шевелить, оно волнуется и встряхиваетъ свою кипучей натурой.

А Марья Степановна все-таки еще не показывалась.

Графъ усталъ говорить, тѣмъ болѣе, что спутникъ его ничего ему не возражалъ, а только молча съ нимъ соглашался и обводилъ глазами квартиру прелестной дамы въ фальшивомъ положеніи. Какъ большинство всѣхъ дачныхъ построекъ, это былъ животрепещущій домикъ съ дощатыми переборками, оклеенными бумагой и выкрашенными клевою краскою.

Набивные бумажные обои тогда еще только начинали входить въ употребленіе въ городскихъ домахъ, а дачные домики внутри раскрашивали и потолки ихъ расписывали цвѣтами и амурами.

Это тогда дешевле стоило и, по правдѣ сказать, выходило недурно.

Убранство комнатъ было не бѣдное, но и не богатое, но какое-то особенное, какъ бы, напримѣръ, *походное* или вообще полковое; точно какъ будто здѣсь жила не молоденькая, красивая женщина, а, напримѣръ, эскадронный командиръ, у котораго лихость и отвага соединялись съ нѣкоторымъ вкусомъ и любовью къ изящному. Не плохіе ковры, не плохіе занавѣсы, диваны, фортепиано и цитра, но больше всего ковровъ. Все, гдѣ только можно повѣсить коверъ, тамъ покрыто и занавѣшено коврами. Огромный же персидскій коверъ закрываетъ отъ потолка до полу и всю дверь въ спальню, гдѣ теперь за перегородкой одѣвается Марья Степановна.

А оттуда все-таки еще ни слуха, ни духа.

— Однако, долго она что-то надѣваетъ свою распашонку! — замѣтилъ графъ и громко позвалъ по-русски:

— Марья Степановна!

Очень пріятный грудной контроль отозвался изъ-за стѣнки:

— Сейчасъ.

— А когда же вы кончите свои Klänge? мы уже устали васъ ждать.

— Тѣмъ лучше.

— Да, но если вы скоро не выйдете, то я буду такъ дерзокъ, что пойду къ вамъ.

— Вы этого не смѣете. Впрочемъ, я сейчасъ, сейчасъ выйду.

— Все пуколыки, пуколыки,—пошутить графъ.

Офицеръ приподнялся съ дивана и началъ разсматривать приставленную въ углу комнаты доску, на которой былъ наклеенъ бѣлый картонъ съ расчерченными на немъ кругами и со многими слѣдами попавшихъ сюда пулекъ.

— Это вотъ наша Діана изволить стрѣлять, — сказалъ графъ.

— Довольно мѣткіе выстрѣлы.

— Да, но вѣдь это не дозволено въ жилищѣ мѣстѣ, и я уже изъ-за нея имѣлъ по этому поводу объясненія... Но, однако...

Графъ сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе и добавилъ:

— Этотъ прекрасный стрѣлокъ нынче такъ долго медлитъ, что я позволю себѣ сдѣлать атаку.

И графъ только-что приподнялся съ дивана, чтобы постучать въ двери, какъ завѣшавшій дверь коверъ отодвинулся и въ его полутемномъ отворотѣ появилась красивая Марья Степановна. Она въ самомъ дѣлѣ была очень хороша,—хотя немножко половата. Ростъ у нея былъ небольшой, но хорошій и притомъ удивительное античное тѣлосложеніе, а лицо нѣсколько смугловатое, съ замѣчательнымъ тонкимъ очертаніемъ, напоминающимъ новогреческій типъ. Это прелестное лицо очень знали въ Петербургѣ, и Марья Степановна впоследствии еще покрушила много сердець и головъ, такъ какъ съ этого случая, о которомъ я теперь рассказываю, только началась ея постоянная карьера. Впоследствии изъ нея вышелъ такой на всѣ руки боець и дѣлецъ, черезъ котораго обдѣлывались самыя невозможныя дѣла. Но мы, однако, не будемъ предупреждать событія.

Графъ подаль Марью Степановну руку, а другою рукою поддержалъ ее за затылокъ подъ голову и поцѣловалъ ее въ лобъ, который та подставила графу, какъ истая леди.

Затѣмъ онъ представилъ хозяйкѣ гостя, а тому сказалъ:  
— Марья Степановна—мой другъ: ся друзья—мои друзья,  
а враговъ у насъ съ нею нѣтъ.

Марья Степановна ласково протянула гостю руку, а въ сторону графа отвѣчала:

— Что до меня, то это не такъ: у меня враги есть и въпредь очень быть могутъ, но я ихъ никогда не замѣчаю.

Между тѣмъ, хотя она держала себя и очень самоувѣренно и смѣло, но въ ея лицѣ, фигурѣ и въ довольно хорошихъ, но нѣсколько нервныхъ движеніяхъ было что-то немножко вульгарное и немножко тревожное, но тревожное, такъ сказать, «съ предусмотрѣніемъ» на всякій возможный случай. Она держалась прекрасно и говорила бойко и умно, не стѣсняясь своей очень очевидной роли,—что непременно стала бы дѣлать женщина менѣе сообразительная; но только ей все-таки было не по себѣ, и она прибѣгла къ обще-армейскому средству: она пожаловалась на нездоровье, причѣмъ впала въ довольно замѣтную ошибку: дѣвушка ей говорила о зубной боли, а сама Марья Степановна возронтала на неспособную мигрень.

Графъ замѣтилъ ей это и разсмѣялся, а она рассердилась и запальчиво отвѣтила:

— Не все ли это равно.

— Ну, не совсѣмъ все равно.

— Совершенно равно: когда сильно болятъ зубы, тогда все болитъ. Не правда ли?—обратилась она къ офицеру.

Тотъ согласился съ шутявымъ поклономъ.

— Вы очень милы,—отвѣчала она и снова обвела комнату взглядомъ, въ которомъ читалось ея желаніе, чтобы визитъ посѣтителей сошелъ какъ можно короче. Когда же графъ сказалъ ей, что они только выпьютъ у нея чашку шоколада и сейчасъ же уйдутъ, то она просіяла и, забывъ роль больной, живо вышла изъ комнаты отдать приказанія служанкѣ, а графъ въ это время спросилъ своего спутника:

— Какова-съ?

— Эта дама очень красива.

— Да, это лицо сотворено для художника,—и она позировала передъ Майковымъ. Приятный художникъ. Я его зналъ еще въ двѣнадцатомъ году, когда онъ былъ офицеромъ. Очень нѣжно шинеть. Государь любитъ его

кисть. У меня есть нѣсколько головокъ Марьи Степановны, но тутъ у нея у самой есть съ нея этюдъ, гдѣ видно больше чѣмъ одна головка... Это ничего, что она полна. Майковъ былъ ею очарованъ. Говорятъ, будто онъ религіозенъ,—я этого не знаю, но онъ въ беззащитномъ родѣ пишетъ престпо. Вы видали его произведенія въ этомъ родѣ?

— Нѣтъ,—я о нихъ только слышала.

— Ну, такъ вы сейчасъ это можете видѣть: давайте вашу руку и идите за мною.

И Канкринъ почти втянулъ офицера за собою въ спальню красавицы, гдѣ надъ газированнымъ уборнымъ столомъ висѣлъ довольно большой, драпированный бархатомъ, портретъ Марьи Степановны. Портретъ дѣйствительно былъ хорошо написанъ, извѣстными нѣжными Майковскими лассировками и съ большою классическою открытостію, позволявшею любоваться и формами, и живымъ и сочнымъ колоритомъ прелестнаго женскаго тѣла. Картина была вполнѣ мастерская и вполнѣ достойная живой красоты, которую она воспроизводила. Но Майковскія лассировки были очень нѣжны, а офицеръ былъ отъ природы сильно близорукъ и, чтобы разсмотрѣть картину, долженъ былъ стать къ ней очень близко. Канкринъ его самъ къ этому и подвинулъ, подведя вилетнюю къ шшино убранному кисею туалетному столу.

Тутъ и случилось самое неожиданное происшествіе: офицеръ не замѣтилъ, какъ онъ зацутался шпорами или саблѣй въ легкія оборки кисейной отдѣлки туалетнаго стола, а когда онъ нагнулся, чтобы поправить свою неловкость, то сдѣлалъ другую, еще болышую. Желая освободить себя изъ волнъ кисей, онъ приподнял полу чехла и остолбѣпѣлъ: глазамъ его, какъ равно и глазамъ графа, представилась подъ столомъ двѣ неизвѣстно кому принадлежащія ноги въ мужескихъ саногачъ и двѣ руки, которыя обхватывали эти ноги, чтобы удержатъ ихъ въ ихъ несчаственномъ компантѣ.

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Молодой офицеръ былъ превенноленъ жесточайшею на себя досадою за свою неловкость, и въ то же время ему разомъ хотѣлось смѣяться, и было жаль и этой дамы, и

графа, и того неизвестнаго счастливица, кому принадлежали обрѣтенныя ноги.

Но положеніе сдѣлалось еще труднѣе, когда офицеръ оглянулся и увидать, что сама Марья Степановна успѣла возвратиться и стояла тутъ же на порогѣ открытой двери.

«Вотъ, чортъ возьми, положеніе!» подумалъ онъ, и въ его головѣ вдругъ промелькнуло, какъ такія вещи разыгрываются у людей той или другой націи и того или другаго круга, но вѣдь это все здѣсь не годится... Вѣдь это Канкриш! Онъ долженъ быть уменъ вездѣ, во всякомъ положеніи, и если въ данномъ досадномъ и смѣшномъ случаѣ Марья Степановнѣ предстоитъ задача показать присутствіе духа, болѣе чѣмъ нужно на сѣдлѣ и съ ружьемъ въ рукахъ, то и онъ долженъ явить собою примѣръ благо-разумія!

Между тѣмъ картина не могла оставаться нѣмою,— и графъ былъ, очевидно, того же самаго мнѣнія.

Видя всеобщее удрученіе нѣмою сценою, графъ, нимало не теряя своего спокойнаго самообладанія, нагнулся къ задрашированному столу, изъ-подъ котораго торчали ноги, и привѣтливо позвалъ:

— Милостивый государь!

Отвѣта не было.

— Молодой человѣкъ! — повторилъ графъ.

Ноги слегка вздрогнули.

— Mon enfant, — обратился графъ къ Марья Степановнѣ: — не можете ли вы мнѣ сказать, какъ зовутъ этого страннаго молодого человѣка?

— Его зовутъ Иванъ Павловичъ, — отвѣчала, покраснѣвъ, по съ зазоромъ въ голосѣ хозяйка \*).

— Прекрасная вещь, но какъ жаль, что онъ такъ застѣчивъ! Зачѣмъ онъ отъ насъ прячется?

— Такъ... просто застѣчивъ...

— Чтò за причуды сидѣть подъ столомъ!

— Онъ прекрасно вышиваетъ и помогать мнѣ вышивать сюрпризъ ко дню вашего рожденія, и... сконфузился.

— Сюрпризъ ко дню моего рожденія...

Графъ послалъ ей рукою по воздуху поцѣлуй и добавилъ:

---

\*) Имена героя и героини я ставлю не постоянныя и фамиліи ихъ не обозначаю. Отъ этого изображеніе эпохи и нравовъ, надѣюсь, ничего не теряютъ.—Н. А.

— Merci, mon enfant. Иванъ Павловичъ, выходите: вамъ тамъ совѣтъ неловко вышивать.

Гость подъ столомъ фыркнулъ отъ смѣха и самымъ беззаботнымъ, веселымъ голосомъ отвѣчалъ:

— Дѣйствительно, ваше сіятельство, неудобно.

И съ этимъ вдругъ, какъ арлекинъ изъ балаганнаго люка, передъ ними появился итатскій молодецъ въ сюртучкѣ не первой свѣжести, но съ веселыми голубыми глазами, пунцовымъ ртомъ и такими русыми кудрями, отъ которыхъ, какъ отъ нагрѣтой проволоки, тепломъ налило...

Канкринъ подаль ему съ лежавшаго на столѣ серебрянаго plateau большую черенаховую гребенку и сказалъ:

— Поправьте вашу прическу.

— Это напрасно, ваше сіятельство.

— Нѣтъ, она у васъ въ безпорядкѣ.

— Все равно, ваше сіятельство, ихъ причесать нельзя.

— Отчего?

— Они у меня не ложатся.

— Какъ не ложатся?

— Никогда, ваше сіятельство, не ложатся.

— Слышите!—обратился графъ къ офицеру; тотъ улыбнулся.

— Ну, а если ихъ эти ваши волосы намочить водою?

— И тогда не ложатся!

— Вотъ такъ натура!—подхватилъ графъ, и то же самое повторилъ, обернувшись къ офицеру, а Марья Степановна сказала по-французски:

— А вы напрасно говорите, что онъ конфузливъ.

— Онъ теперь оправился, потому что вы его обласкали.

— А-а, это очень быть-можетъ,—согласился графъ и докончилъ:

— Ведите же насъ, милая хозяйка, къ вашему столу.

Съ этимъ онъ подаль Марья Степановна руку и провелъ ее къ столу, гдѣ всѣхъ ихъ ожидалъ шоколадъ.

На Ивана Павловича дѣйствительно была сказана напраслина, будто онъ конфузливъ; но тѣмъ не менѣе онъ все-таки не зналъ, куда дѣть глаза, и министръ вступился въ его положеніе и началъ его разспрашивать.

## ГЛАВА ПЯТАЯ.

— Служите ли вы гдѣ-нибудь, молодой человекъ?

- Служу, ваше сіятельство.
- И что же: везетъ ли вамъ на службѣ?
- Не знаю, какъ вамъ объ этомъ доложить.
- Ну, какое вы, наиримѣрь, занимаете мѣсто?
- Канцелярскій чиновникъ.
- Еще не высоко! А давно уже служите?
- Пять лѣтъ.
- Что же васъ не поднимаютъ?
- Протекціи не имѣю, ваше сіятельство.
- Надо имѣть не протекцію, а способности и доброе прилежаніе, при добромъ поведеніи. Это гораздо надежнѣе.
- Никакъ нѣтъ, ваше сіятельство.
- Что значить ваше «никакъ нѣтъ»?
- Протекція гораздо надежнѣй.
- Что за вздоръ вы говорите!
- Нѣтъ-съ, это дѣйствительно такъ.
- Перестаньте, пожалуйста! Это даже думать такъ стыдно.

— Отчего же, ваше сіятельство, стыдно,—я это беру съ практики.

— Съ какой практики? Велика ли еще ваша практика! Вы такъ молоды.

— Молодъ, дѣйствительно, ваше сіятельство, но все такъ говорятъ, и я тоже по себѣ заключаю: я считаюсь и способнымъ, и все стараніе прилагаю, и ни въ чемъ предосудительномъ въ поведеніи не замѣченъ, въ этомъ, я думаю, Марья Степановна за меня поручиться можетъ, потому что я ей уже три года извѣстенъ...

— Ахъ, вы уже три года знакомы!—перебилъ графъ.— Это раньше меня!

— Нѣсколько менѣе,—замѣтила Марья Степановна.

— Да, дѣйствительно, менѣе, — подхватилъ Иванъ Павловичъ.

— Опъ, однако, вовсе не застѣнчивъ, — шелнуть ей на ухо графъ.

— Вы его обласкали.

— Правда ваша, правда.

— А кто это, молодой человекъ, вашъ главный начальникъ, при которомъ такъ мало значать труды и способности, а все зависитъ отъ протекціи?

— Прешу прощенія у вашего сіятельства: этотъ вопросъ меня затрудняетъ.

— Не стѣсняйте! Мы здѣсь встрѣтились просто у общей знакомой—милой и доброй дамы и можемъ говорить откровенно. Кто вангъ главный начальникъ?

— Вы, ваше сіятельство.

— Какъ я!

— Точно такъ, ваше сіятельство: я служу въ министерствѣ финансовъ.

— Ну, послушайте,—обратился графъ по-французски къ Марьѣ Степановнѣ:—онъ совершенно незастѣнчивъ.

Та сдѣлала нетерпѣливое движеніе.

— Отчего же я васъ, Иванъ Павловичъ, никогда не видать?—спросилъ графъ.

— Штъ, вы изволили меня видѣть, только не замѣтили. Я во всѣ праздники являюсь и расписываюсь на канцелярскомъ листѣ раше многихъ.

— Да какъ же, наконецъ, ваша фамилія?

— Я называюсь N—овъ.

— N—овъ,—такъ я произношу?

— Точно такъ, ваше сіятельство.

— Ну, adieu, mon enfant,—обратился графъ къ дамѣ:—и au revoir, monsieur N—овъ.

Графъ и его спутникъ простились, сѣли на своихъ коней и уѣхали.

Наблюдавшій всю эту любопытную сцену офицеръ замѣтилъ, что Марья Степановна различила разницу посланнаго ей графомъ «adieu» отъ адресованнаго Ивану Павловичу «au revoir», но нимало этимъ не смутилась; что касается самого Ивана Павловича, то онъ при отъѣздѣ гостей со двора выстроился у окна и смотрѣлъ совѣсмъ побѣдителемъ, а завитки его жесткихъ, какъ сталь, волосъ казались еще сильнѣе наэлектризованными и тонорцились вверху.

«Чортъ меня знаетъ, на какое я палетѣлъ прощеніе»,—думалъ офицеръ и онццать сильное желаніе какъ можно скорѣе разстаться съ графомъ.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ.

То же самое, въ свою очередь, испытывалъ и Банкринъ. И ему, разумѣется, не было теперь удовольствія ѣхать

съ-глазу-на-глазь вдвоемъ съ малоознакомымъ щегольскимъ офицеромъ, который видѣлъ его въ смѣнномъ положеніи.

Какъ только они выѣхали за Новую Деревню, на лужайку къ Лѣсному, графъ говоритъ:

— Ну, вы теперь отсюда куда же?

Офицеръ понялъ, что тотъ хочетъ отъ него отдѣлаться, и самъ этому случаю обрадовался.

— Я, говоритъ, — хотѣлъ бы заѣхать къ одному товарищу здѣсь, въ Старой Деревнѣ.

— Что же, и прекрасно, вы не стѣсняйтесь. А я поѣду на Каменный навѣстить графа Панина.

Имъ дальше было не по дорогѣ.

Графъ остановилъ коня и крѣпко, дружески пожалъ офицеру руку.

Тотъ ощутилъ въ этомъ пожатіи цѣлую скромную просьбу и въ молчаливомъ поклонѣ умѣлъ выразить готовность ее исполнить.

— Спасибо,—отвѣчалъ Канкринъ, и они разошлись.

Графъ, однако, обманулъ своего молодого друга, — онъ не поѣхалъ къ Панину, а возвратился домой и прошелъ къ супругѣ. Графиня Екатерина Захаровна (рожденная Муравьева) въ это время принимала у себя какого-то иностранца-пѣвца, котораго привезъ ей напоказъ частый ея гость, извѣстный въ свое время откупщикъ Жадовскій.

Графиня и Жадовскій сидѣли и слушали артиста, который съ величайшимъ стараніемъ показывалъ имъ свое искусство въ игрѣ на фортепiano.

Графъ даже не вошелъ въ комнату, а только постоялъ въ открытыхъ дверяхъ, держась обѣими руками за притолки, а когда пьеса была окончена и графиня съ Жадовскимъ похлопали польщенному артисту, Канкринъ, махнувъ рукою, произнесъ безцеремонно «*miserable Klumperei*», и застучалъ своими галонами по направленію къ своему темному кабинету.

Здѣсь онъ надѣлъ на лобъ козырекъ отъ фуражки, служившій ему вмѣсто тафтяного зонтика, и сѣлъ за работу передъ большимъ подевѣчникомъ, въ которомъ горѣли въ рядъ шесть свѣчей подъ темнымъ абажуромъ.

На половинѣ «кавалеръ-дамы» Екатерины Захаровны (такъ величалъ ее покойный графъ) долго еще оставались откупщикъ и артистъ, и раздавалась «*miserable Klumperei*»,

а графъ все сидѣлъ и, можетъ-быть, обдумывалъ одинъ изъ своихъ финансовыхъ плановъ, а можетъ быть просто дремалъ послѣ прогулки на лошади. Но только возвратившійся домой спутникъ графа видѣлъ съ своего балкона силуэтъ Канкринна на марли заставокъ очень долго, а утромъ рано опять уже послышалась его скрипка. Это значило, что Канкринъ всталъ, умылся и, вмѣсто утренней молитвы, играетъ въ своей темной уборной.

Значитъ, его настроеніе находится въ полномъ порядкѣ.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

На другой день, при докладѣ, Канкринъ обратился къ директору департамента, Александру Максимовичу Княжевичу, и спросилъ: есть ли у него канцелярскій чиновникъ по фамилиі N—овъ?

Княжевичъ этого навѣрно и самъ не знаетъ, но отвѣчалъ, что, кажется, будто такой есть.

Спросили у эзекутора, — оказалось, что дѣйствительно есть чиновникъ N—овъ.

— А давно ли онъ служить и гдѣ воспитывался?

Отвѣчаютъ, что служить уже около пяти лѣтъ (совершенно вѣрно, какъ говорилъ самъ Иванъ Павловичъ). А происходитъ онъ изъ небогатыхъ курскихъ дворянъ, мать его была въ Суджѣ акушеркою, а онъ обучался на средства какого-то благодѣтеля въ курской гимназіи и окончилъ курсъ.

Графъ это выслушалъ и говоритъ:

— Я его видѣлъ. Въ курской гимназіи хорошо воспитываютъ. У насъ образованныхъ молодыхъ людей немного еще: нельзя ли намъ его какъ-нибудь по службѣ поощрить?

А Александръ Максимовичъ Княжевичъ былъ иногда упрямъ и съ странностями; онъ отвѣчалъ:

— У меня нѣтъ никакихъ вакансій.

Только тутъ же случился директоръ другого департамента, который былъ ловчѣе; этотъ и вызвался:

— У меня, говоритъ, — ваше сіятельство, въ одномъ отдѣленіи есть мѣсто помощника столоначальника, и мнѣ образованный, скромный молодой человекъ очень нуженъ.

Канкринъ поблагодарилъ этого директора и мѣсто Ивану Павловичу тотчасъ дали.

Какъ онъ былъ радъ — ужъ это можно представить, но

только на другой день, по подписаніи приказа, директоръ призвалъ Ивана Павловича къ себѣ и говоритъ:

— Есть ли у васъ виць-мундиръ?

Иванъ Павловичъ отвѣчаетъ:

— Никакъ нѣтъ, ваше превосходительство: я занималъ до сихъ поръ неклассную должность и виць-мундира себѣ не шилъ да и шить не за что.

— Ну, теперь,—отвѣчаетъ директоръ:—вы повышены, и на классной должности вамъ виць-мундиръ необходимъ. Я назначаю вамъ изъ канцелярскихъ суммъ полтораста рублей пособіи, — извольте ихъ получить и немедленно же закажите себѣ хорошій виць-мундиръ. Совѣтую вамъ сдѣлать его на Васильевскомъ Островѣ у портного Доса. Онъ самъ англичанинъ и всѣмъ англичанамъ работаетъ. Его фракки очень солидно сидятъ, что для формы идетъ. Можете ему сказать, что я васъ прислалъ: онъ и мнѣ тоже работаетъ. — А когда будете одѣты, прошу ко мнѣ явиться.

Досъ шилъ Ивану Павловичу такую виць-мундирную пару, что тотъ сразу получилъ видъ, по крайней мѣрѣ, молодого сенатора.

— Чудесно шито,—похвалилъ директоръ.—Теперь извольте же завтра представиться въ этомъ виць-мундирѣ графу и поблагодарить его, такъ какъ вы вашимъ повышеніемъ обязаны непосредственному вниманію его сіятельства къ вашимъ способностямъ и воспитанію.

«Охъ, ты, чертъ возьми, какая загвоздка!» — подумалъ Иванъ Павловичъ.

Онъ и самъ чувствовалъ въ себѣ большую потребность благодарить графа, но, при воспоминаніи объ обстоятельствахъ, которыя предшествовали этому начальственному вниманію, мысли молодого человѣка путались. Ивану Павловичу казалось и смѣшно, и даже какъ будто дерзко напоминать о себѣ графу предъявленіемъ ему своей интересной самоличности. Иванъ Павловичъ думалъ такъ, что если онъ не пойдетъ благодарить, то это будетъ лучше: графъ навѣрно не сочтетъ этого за непочтительность, а, напротивъ, похвалитъ его скромность; но директоръ понималъ дѣло иначе и настоялъ, чтобы Иванъ Павловичъ непременно пошелъ представляться и благодарить.

Дѣлать нечего, надо было повиноваться.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Въ парочитый день, когда Канкринъ принималъ чиновниковъ своего вѣдомства, сталъ передъ нимъ въ числѣ представлявшихся и Иванъ Павловичъ.

Только этотъ застѣнчивый человекъ, — сколько по скромности, столько же по тонкому расчету, — помѣстился ниже всѣхъ въ самомъ концѣ шеренги представлявшихся чиновъ. Этимъ Иванъ Павловичъ оказалъ скромность передъ другими болѣе сановными лицами, а себѣ предуготовилъ ту выгоду, что, оставаясь послѣднимъ, онъ могъ принести свою благодарность министру насднѣ.

Дѣйствительно, такъ и пришлось: Канкринъ отпустилъ по очереди всѣхъ представлявшихся, а потомъ подошелъ къ послѣднему Ивану Павловичу и, не смотря ему въ лицо, протянулъ руку, чтобы принять прошеніе.

Иванъ Павловичъ поклонился и молвилъ:

— Я, ваше сіятельство, не съ прошеніемъ.

Канкринъ векинулъ на него глаза и проговорилъ:

— Что же вамъ угодно?

— Я являюсь по приказанію директора, чтобы благодарить ваше сіятельство.

— За что?

— Я получилъ мѣсто...

— Прекрасно... я очень радъ... Значить, вы его заслужили.

— Госнодинъ директоръ мнѣ объявилъ, что вы сами изволили оказать мнѣ въ этомъ помощь.

— Очень можетъ быть: вы мнѣ помогали, а я вамъ помогъ. Это такъ и слѣдовало. Желаю вамъ счастливо подвигаться впередъ.

Графъ поклонился и ушелъ, а директоръ призвалъ къ себѣ въ кабинетъ Ивана Павловича и разспросилъ его, что съ нимъ говорилъ министръ при представленіи.

Иванъ Павловичъ отвѣчалъ:

— Графъ изволили быть со мной очень милостивы и пожелали мнѣ «счастливо подвигаться впередъ».

Директоръ едѣлалъ жестъ и говоритъ:

— Это прекрасно, — вы можете считать себя устроеннымъ: графъ очень проникателенъ и онъ не ошибся отмѣтить въ васъ способнаго молодого человека, которому стоило

только сдѣлать первый шагъ. Этотъ шагъ теперь вами и сдѣланъ, а дальнѣйшее зависитъ не отъ однихъ вашихъ стараній, но также и отъ сообразительности,—присядьте.

Иванъ Павловичъ поклонился.

— Присядьте, присядьте, — повторилъ директоръ, показывая ему на стулъ.

Тотъ сѣлъ.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

— Финансовая служба,—заговорилъ директоръ:—это не то, что какая-нибудь другая служба. Она имѣетъ свои особенности. Здѣсь идетъ дѣло не о юридическихъ фантазіяхъ, а о хозяйствѣ, — о всемъ, такъ сказать, достояніи Россіи. Вотъ почему люди, которые допускаются къ финансовымъ должностямъ, облакаются большимъ довѣріемъ начальства, и потому они должны быть ему крѣпки... Они должны, такъ сказать, представлять начальству въ самихъ себѣ прочное ручательство, что, кромѣ естественно въ каждомъ честномъ человѣкѣ предполагаемаго сознанія собственного достоинства и священнаго долга, они скрѣпили себя другими узамъ, которыя въ своемъ родѣ тоже равны присягѣ, потому что онѣ произносятся передъ алтаремъ и начертываются въ сердцахъ...

Директоръ былъ немножко поэтъ, но Иванъ Павловичъ въ ту же минуту умѣлъ переложить его оду на обыкновенный прозаическій языкъ.

— Я говорю о томъ,—сказалъ директоръ:—что въ финансовомъ вѣдомствѣ довольно трудно полагаться на холостыхъ людей. Холостые люди — они, какъ мотыльки или какъ перелетныя птички, всегда готовы порхать съ цвѣтка на цвѣтокъ, съ вѣтви на вѣтку. Посидѣлъ, вспорхнулъ — и нѣтъ его, и ницъ гдѣ знаешь. Въ военной службѣ это, напримѣръ, даже принято, но по финансовой службѣ это невозможно. Настоящій финансистъ, если онъ желаетъ внушать къ себѣ полное довѣріе, непременно долженъ имѣть дорогихъ и близкихъ его сердцу существъ... Понимаете, чтобы ему было къ кому чувствовать привязанность и было чѣмъ и для кого дорожить собою.

Директоръ чувствовалъ, что говоритъ вздоръ, и сибшилъ окончить.

— Я разумѣю то, — заключилъ онъ: — что финансистъ

непремѣнно долженъ быть женатъ и имѣть семейство. Да, да, да! Непремѣнно! И я разумѣю не какое-нибудь вѣтрое семейство, составленное на холостую руку, а плотную и почтенную женатую жизнь. Истинный финансистъ, если онъ желаетъ представлять собою надежныя за себя ручательства, непремѣнно долженъ быть женатъ. Одно глубоко и искренно уважаемое мною лицо, котораго я не называю вамъ, разъ прямо высказало мнѣ свою тайную задушевную мысль, что, по его мнѣнію, отвѣтственные должности по финансовому вѣдомству предпочтительно надлежитъ довѣрять людямъ женатымъ. И мы этого держимся, если не совсѣмъ безъ отступленій, то по возможности мы женатымъ даемъ преимущества. Таковы почти правила для финансовой службы, если ею управляютъ какъ слѣдуетъ. И я хотѣлъ бы сказать, что это прекрасныя правила, выработанныя практикой и освященныя временемъ. И для того, кто имѣетъ благородное честолюбіе и кто способенъ никогда не упускать изъ виду сдѣлать себѣ быструю и хорошую карьеру, — я надѣюсь, что я не говорю ничего необычайнаго и новаго. Кто религіозенъ и кто уважаетъ заповѣдь Божию, тотъ долженъ знать, что «не благо быть человѣку одному». Этого положенія обойти нельзя, ибо оно вѣчно, ибо это... такъ...

Директоръ поднялся съ своего кресла, вознесъ вверхъ правую руку съ двумя выпрямленными пальцами и закончилъ:

— Такъ сказалъ о человѣкѣ самъ Богъ!

Съ этимъ сановникъ вручилъ свои два пальца Ивану Павловичу и отпустилъ его со словами:

— И я такъ вамъ совѣтую, и желаю вамъ счастья и успѣховъ. Вашъ столоначальникъ почти такой же, какъ вы, молодой человѣкъ съ прекраснымъ образованіемъ и сердцемъ. Вамъ съ нимъ будетъ пріятно. Въ немъ много самолюбія, и онъ на своемъ пышнѣйшемъ посту долго не засидится. Я не люблю оставлять безъ поощренія людей способныхъ и меня понимающихъ. Томить людей не слѣдуетъ, и никого изъ моихъ подчиненныхъ не томить — это мое правило.

Они поклонились другъ другу самымъ пристойнымъ и самымъ выразительнымъ манеромъ.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Спустя столько времени, сколько Ивану Павловичу показалось нужным для того, чтобы дѣло его имѣло надлежащій видъ, онъ подаетъ своему директору записку о разрѣшеніи ему вступить въ законный бракъ съ Марьей Степановной.

Графъ Канкринъ хотя съ неудовольствіемъ, но все-таки не отказалъ въ просьбѣ Марьи Степановны и былъ у нея посаженнымъ отцомъ.

Иванъ Павловичъ для этого случая обнаружилъ всю тонкость своего практическаго ума: онъ устроилъ свадьбу «по-англійски» — тихую, въ маленькой домово́й церкви, состоявшей на особыхъ правахъ.

Министръ ни малѣйшимъ образомъ не имѣлъ причины пожалѣть о томъ, что онъ уступилъ *последней* просьбѣ своей милой знакомой, которой уже ранѣе сказалъ свое «adieu».

Она ему, впрочемъ, напомнила объ этомъ «adieu», когда, по прѣздѣ изъ церкви, осталась на короткое мгновеніе вдвоемъ съ глазу на глазъ съ графомъ.

— «Adieu», — сказала она: — можетъ говорить женщина мужчигъ, но не мужчина женщигъ. Вы меня оскорбили — это на васъ не похоже.

Графъ извинился разсѣянностью.

— Я очень рада, а то я начинала думать, что вы способны забывать свои самыя лучшія философскія правила.

— Папримѣръ, какія?

— Никогда не говорить «никогда». Вы меня этому учили, и я помню.

Графъ засмѣялся, какъ будто этимъ ему было приведено на память что-то очень смѣшное и въ то же время пріятное.

— А что, видите, — вы мнѣ вѣрно не льстили, находи у меня «философскую складку».

— О, я вамъ нимало не льстил! Вы не только имѣете «философскую складку», но вы совсѣмъ великій практическій философъ.

— И что же, должна ли я теперь сказать вамъ «adieu»?

— Mon ange, — вы можете попрежнему сказать au revoir.

И онъ взялъ и поцѣловалъ ея руку, а она слегка коснулась его лба и слегка же уронила ему въ отвѣтъ:

— Попрежнему.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Иванъ Павловичъ немедленно же получилъ мѣсто столоначальника и былъ очень счастливъ въ своей семейной жизни. Марья Степановна была ему прекрасною женою, что ей было и не трудно, потому что она этого молодца въ самомъ дѣлѣ любила. Изъ ея приглашенія графа къ «прежнему» для супружескаго счастья Ивана Павловича не выходило ничего угрожающаго. Марья Степановна была не пустая, легкомысленная кокетка, которая способна упражняться въ кокетствѣ по одной любви къ этому искусству. Прѣтъ, Марья Степановна была умная женщина и именно русская умная женщина, съ практическимъ закаломъ. Она широко обозрѣвала раскрывающееся передъ нею поле жизни и умѣла отличать кажущееся отъ существеннаго. Въ самомъ ея красивомъ обличьи тонкія черты повогреческаго типа, если всматриваться въ нихъ, напоминали одновременно старый византизмъ и славянскую смышленость. Въ ней было что-то пристойное бывшей «матерой вдовѣ Мамелефѣ Тимоѣевнѣ», передъ которою въ раздумѣ тыкали посопками въ землю и трясли бородами поважные старцы, чувствуя, что при такой бабѣ имъ негоже надъ бабьею головою тѣшиться. Весь разговоръ, веденный Марьей Степановной съ цѣлью упомянуть про «прежнее», былъ умный пріемъ не для возобновленія прежнихъ «пустяковъ», изъ которыхъ Марья Степановна выбралась совсѣмъ не за тѣмъ, чтобы къ нимъ возвращаться, «какъ несь на своя блевотины», а для того, чтобы сохранить декорумъ. Она знала французское присловье, что и «королевская любовница не стѣнеть честной жены пастуха» — и она вышла замужъ не даромъ не балуясь; но что могло быть пригодно, того она упускать тоже не хотѣла. Уважала или шѣтъ она своего Ивана Павловича, — это иной вопросъ: умная, практическая женщина рѣдко кого уважаютъ, да имъ это и не нужно; но она его *любила*, и этого съ нея было довольно, чтобы сдѣлать для него привязанность къ ней легкою, пріятною и ничѣмъ не возмутимою.

Какъ большинство женщинъ подобнаго пракческаго склада, она любила Ивана Павловича просто за то, что онъ молодецъ собою, а притомъ расторопнѣе, смѣтливѣе и ей

послушень. Онь ей во всемъ станетъ вѣрить: она его ни въ чемъ не обманеть—именно потому, что онъ ей очень нравится, и они вдвоемъ заживутъ въ мирѣ и согласіи безъ всякаго уваженія, и возьмутъ съ жизни на свой бенефисъ прехорошую срывку.

А о томъ, что о нихъ будутъ говорить, что о нихъ станутъ думать.—этому вздору она знала настоящую цѣну.

«Будь бѣла какъ снѣгъ и чиста какъ ледъ и — все равно — людская клевета тебя очернитъ».

Играя съ графомъ на «прежнихъ» струнахъ, она знала, что аккорды зазвучатъ такъ, какъ она захочетъ.

Уголь, который она раздувала будто бы неосторожно, былъ ей извѣстенъ; она знала, что въ немъ есть нѣкоторая теплота, но не осталось уже ни малѣйшей доли опаснаго пламени.

Но именно эта-то тихая и безопасная теплота ей и была полезна для ея цѣлей. Въ ней именно и нуждалось ихъ все-таки пока еще совсемъ неустроенное и несогрѣтое домашнее гнѣздышко. Графъ былъ нуженъ,—и Иванъ Павловичъ зналъ это ничуть не менѣе, чѣмъ его супруга. А потому, когда Канкринъ, считая себя совершенно уединеннымъ съ Марьей Степановной, цѣловалъ ея пальчикъ въ знакъ возстановленія чего-то «прежняго», — Иванъ Павловичъ, стоя за дверью съ шампанскою бутылкою, придерживалъ подрѣзанную пробку, чтобы она не хлопнула ранѣе, чѣмъ разговоръ будетъ конченъ.

Онъ явился съ виномъ какъ разъ во-время и кстати, когда все нужное уже было сказано.

## ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Иванъ Павловичъ, при всей его малозначительности для такого несомнѣнно большаго человѣка, какъ графъ Канкринъ, сдѣлался тѣмъ, что былъ какой-то сомнительный духъ, вызванный изъ какой-то бездны словомъ очень неосторожнаго аскета.

Выскочилъ Иванъ Павловичъ передъ графомъ изъ-подъ уборнаго стола неожиданно, какъ гороховый ростокъ изъ пуна индійскаго дервиша, котораго описываетъ болтливыи французъ Жаколю, а убрать его назадъ съ глазъ долой сдѣлалось трудно.

Это произошло, во-первыхъ, отъ изящной манеры графа

никогда не оставлять безъ вниманія тѣхъ дамъ, съ которыми онъ былъ однажды ласковъ, и во-вторыхъ—тутъ оказались на античныхъ ручкахъ Марьи Степановны (которымъ могла позавидовать Лавальеръ) забористые коготки «матерой» Мамелефы Тимошеевны.

Графъ былъ пораженъ, какъ начальникъ колѣна Иуды, отъ собственныхъ чреслъ своихъ: онъ не могъ отбиться отъ предупредительнаго желанія угодить ему въ лицѣ Ивана Павловича. Этотъ молодой счастливецъ въ началѣ слѣдующаго года былъ представленъ уже въ начальники отдѣленія. Канцлеръ его утвердилъ — хотя, впрочемъ, освидомленъ:

— Что же, развѣ онъ очень способенъ?

Ему отвѣчали: — О, да-съ; онъ очень способенъ.

Министръ не имѣлъ никакихъ причинъ оспаривать заключенія ближайшаго начальника, и Иванъ Павловичъ сталъ начальникомъ отдѣленія.

Это великій урядъ въ департаментской іерархіи. Съ этого уряда начинается уже пріятная положительность не только въ департаментѣ, но и въ мірѣ. Начальника отдѣленія уже не вышвыриваютъ изъ службы, какъ мелкую сошку, а съ нимъ церемонятся и даже въ случаѣ обнаруженія за нимъ какихъ-нибудь большихъ грѣховъ — его все-таки спускаютъ благовидно. Начальникъ отдѣленія получаетъ позицію — онъ уже можетъ пробираться въ члены благотворительныхъ обществъ, а оттуда его начинаютъ «проводить въ дома». И положеніе его все мѣнится глаже и выше.

Для жены чиновника достиженіе мужемъ мѣста начальника отдѣленія было еще важнѣе. Теперь это значительно измѣнилось, потому что іерархія вообще разслабѣла и потеряла престижъ, но тогда и женщины ее знали и соблюдали. Вѣдь жены лицъ низшаго положенія иначе не назывались, какъ «наши чиновницы», ниже которыхъ были одиѣ курьерши, а съ женой начальника отдѣленія уже начинались «наши министерскія дамы». Эти уже не ходили на Пасху въ приходскій храмъ, а прѣзжали въ «свою министерскую церковь», гдѣ ихъ съ предупредительностію провожалъ дежурный чиновникъ и подавалъ увеселенное изъ канцеляріи мужицко кресло: дьяконъ подкаждалъ имъ граціознымъ движеніемъ щегольски рокошующаго каддила съ стираксой, а батюшка говорилъ: «цвѣтите и благоухайте!»

Послѣ пасхальнаго служенія, у начальницъ отдѣленія уже нерѣдко цѣловали ручки даже сами директоры, а вза-мѣнъ того мужья начальницъ поздравляли лично дирек-торшъ...

Это уже былъ «министерскій кругъ», соприкасающійся съ «кабинетомъ», а не канцелярія, которая граничитъ съ курьерской.

Иванъ Павловичъ съ Марьей Степановной преодолѣли эти ступени, но они не думали на нихъ остановиться. Да, по правдѣ сказать, это имъ было и невозможно, ибо, не-смотря на то, что официальная часть положенія была те-перь въ порядкѣ, но въ неофициальной многое не ладилось: дамы называли Марью Степановну «*ci-devant*» и немно-жечко отъ нея сторонились.

Надо было сдѣлать что-нибудь такое, чтобы образовать свой кругъ и заставить отдать справедливость своимъ спо-собностямъ, которыя, въ самомъ дѣлѣ, были достойны вни-манія.

Марья Степановна кое-что придумала. Она нашла по-водъ видѣться со Скобелевымъ, который когда-то зналъ ея ничѣмъ не знаменитаго отца. Старый комендантъ тоже былъ не прочь приволокнуться и обошелся привѣтливо съ милой дамой, а она заинтересовалась его разсказами. Она вообще попробовала кое-что говорить о литературѣ и уви-дала, что въ Россіи ничего нѣтъ легче какъ это. Скобелевъ заходилъ къ ней пить чай и иногда излагалъ такіе раз-сказы, которые не были напечатаны.

Марья Степановна чувствовала вкусъ къ простонарод-ности, — тамъ столько сердца, ума и юмора...

Скобелевъ находилъ, что все это есть и въ самой ея ней.

Въ самомъ дѣлѣ: развѣ находка у нея нынѣшняго мужа въ нѣкоторомъ родѣ не самая простонародная сцена? Развѣ это не отдастъ «Москалемъ Чаривникомъ»?.. Какъ хороша взаправду живая народная жизнь! Марья Степановна почув-ствовала негодованіе къ выходкамъ противъ Бѣлинскаго. Скобелевъ ей открылъ болѣе, и она добилась случая ви-дѣть разъ знаменитаго критика. Потомъ у ней пилъ чай и что-то читалъ Николай Полевой, и кто-то съ кѣмъ-то спорилъ о славянофилахъ и о необыкновенномъ умѣ молодого Хомякова.

Это произвело свое дѣйствіе: «министерскія дамы» измѣ-

пили negliжированную презрительность на сосредоточенную сухость, въ которой одновременно ощущались и падменіе, и зависть.

Съ такимъ недоброжелательствомъ со стороны искреннихъ уже можно было жить.

Марья Степановна пошла пожинать плоды умнаго по-сѣва.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Марья Степановна, разумѣется, не могла любить литературу, а имѣла ее лишь только для своихъ практическихъ цѣлей. Литература представляетъ большое удобство, когда хочешь говорить о чемъ-нибудь, а не о комъ-нибудь, — такъ однако, чтобы это было для насъ полезно. Она усвоила двѣ-три мысли Бѣлинскаго, знала какое-то непримиримое положеніе Хомякова и склонялась на сторону Пиннокентія противъ Филарета. Словомъ, впала, что называется, въ сферу высшихъ вопросовъ.

Это дало ей апломбъ и заставило многихъ кивать головами: «чѣмъ-то это кончится?»

Иванъ Павловичъ уже былъ сдѣланъ вице-директоромъ. Полагали, что это по женѣ, у которой такія прекрасныя, хотя, быть-можетъ, и не безонасныя знакомства.

Только она уже очень рисковала. Графъ Канкринъ былъ человѣкъ довольно свободныхъ взглядовъ, однако, сказывали, что и онъ, подписывая назначеніе Ивана Павловича вице-директоромъ, поморщился.

Но судьба Ивану Павловичу служила съ невѣроятною преданностію: какъ парочно, случались такія дѣла, что надо было командировать туда и сюда лицъ способныхъ и достойныхъ, и всякій разъ министру представляли для такихъ дѣлъ Ивана Павловича.

Это было очень неприятно Канкрину, и онъ одно представленіе отложилъ въ сторону, — сдѣлать было неудобно; но черезъ нѣсколько дней графъ былъ на одномъ музыкально-литературномъ «soirée intime», куда гости попадали не иначе, какъ сквозь фильтръ, — и вдругъ тамъ, въ одномъ укромномъ уголкѣ, графъ встрѣтилъ скромную женскую фигуру, которая ему сдѣлала глубокій поклонъ съ оттънкомъ подчиненности и пропѣи, и произнесла только одно слово:

-- Excellence!

Графъ не ожидалъ ее здѣсь встрѣтить и, немпожко взволновавшись, взялъ ее за руку и сказалъ:

— Ахъ, мой другъ,—вѣдь ужъ для него много сдѣлано—что же такое нужно, чтобы я еще сдѣлалъ?

Только не мѣшайте.

Графъ улыбнулся и отвѣчалъ:

— Это напоминаетъ комедію: «Одно слово министру».— Ну, хорошо: я подпишу.

И онъ подписалъ Ивану Павловичу новое повышеніе.

Сила ея надъ графомъ была доказана. Пусть онъ и морщится, когда ему представляютъ Ивана Павловича, но въ общемъ сочетаніи различныхъ комбинацій все-таки приятно. Вскорѣ къ протекціи Марьи Степановны стали прибѣгать сторонніе люди, имѣвшіе въ графѣ надобность по дѣламъ, и престранная вещь—тоже выходило успѣшно...

Было ли это случайное совпаденіе обстоятельствъ, или нѣтъ,—въ этомъ трудно было разобраться.

Пошло какое-то жужжанье, въ которомъ мѣшались все, упоминая что-то и про Иннокентія, и про Хомякова, — и вдругъ также что-то такое про взятку...

Словомъ, являлось острое положеніе, въ которомъ надо—какъ говорятъ игроки—«квитъ или двойной кушъ».

Марья Степановна повела на двойной кушъ, а объ Иванѣ Павловичѣ въ самую неожиданную минуту послѣдовало новое представленіе графу къ повышенію.

Графъ вскинулъ.

— Что такое!.. куда его еще!.. И притомъ и что-то слышалъ...

Представлявшій отлично зная, съ кѣмъ имѣеть дѣло, и хорошо нашелся.

— Да,—отвѣчалъ онъ:—я знаю, что говорить: это очень жалко, но это не его вина, — а вина его жены, которая увлечена идеями славянофильства Хомякова...

Славянофильство графу было противно.

— Что такое? Какія хомяковскія идеи? Это что-то про сорокъ мучениковъ. Я въ этомъ рѣшительно ничего не понимаю. Оставьте у меня бумаги.

Но тотчасъ же гдѣ-то и какъ-то опять является «она, предестной простоты полна», и даже безъ «excellence», а съ однимъ поклономъ и даетъ дѣлу желанное направленіе.

Увидавъ ее въ высокомъ кругѣ, графъ захотѣлъ, во что бы то ни стало, разъ и навсегда избавиться и отъ нея, и отъ ея мужа самымъ рѣшительнымъ пріемомъ.

Онъ самъ съ нею остановился, самъ взялъ ее за руку и сказалъ:

— Я все, все сдѣлаю, но другимъ образомъ.

Марья Степановна отвѣчала:

— Я всегда вѣрю вашему рыцарскому слову.

#### ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Дѣло о карьерѣ Ивана Павловича приходилось завершать.—только бы не быть болѣе съ нимъ вмѣстѣ.

Графъ сдѣлалъ комбинацію. Другое лицо большого положенія — графъ Панинъ имѣлъ надобность въ услугѣ министра финансовъ.

Канкринъ ее сдѣлалъ скоро и охотно, а чрезъ нѣкоторое время явился просить за подчиненнаго, котораго заслугъ онъ не въ силахъ совмѣстить съ ограниченностію персонала по своему вѣдомству.

Графъ Панинъ пожевать и отвѣчать, что «совмѣщать» многое очень трудно, и свободнѣе другихъ это можетъ развѣ Перовскій, у котораго не перечесть сколько хорошихъ мѣстъ, находящихся въ его власти.

Перовскій это и сдѣлалъ, а Канкринъ, подписывая бумагу о согласіи на переводъ Ивана Павловича въ другое вѣдомство, совсѣмъ неожиданно для предстоявшихъ перекрестился по-русски, какъ самъ Хомяковъ, и сказалъ:

— Это, какъ тамъ говорятъ. «ныиче отиуцаени». Наконецъ, я не буду опасаться, что мнѣ представить, чтобы я-его утвердилъ начальникомъ самому себѣ.

Такъ все были введены въ обманъ, и думали, будто, представляя Ивана Павловича, дѣлали графу неопишанное удовольствіе, тогда какъ это было совсѣмъ напротивъ.

Но собственно «отиуценія» графу все-таки не было. Въ Петербургѣ поняли, что въ услужливости ему въ лицѣ Ивана Павловича было много ошибочнаго, но въ провинціи, куда этотъ карьеристъ поѣхалъ большимъ лицомъ и гдѣ первенствующее положеніе Марья Степановнѣ уже принадлежало по праву, они были встрѣчены иначе. Въ осѣдливое тѣсто словно поддусли свѣжихъ дрожжей, и оно пошло подниматься на опарѣ.

Марья Степановна слыла всемогущею по своему прежнему положенію и совѣщала теперь это съ выгодами новаго положенія: она стояла выше того, чтобы ее подозрѣвать въ нескательности: она говорила словами Бѣлинскаго «о человѣкѣ нравственно-развитомъ», слѣдила за Хомяковымъ, бесѣдовала съ Иннокентіемъ и... брала самыя отчаянныя взятки даже по такимъ вѣдомствамъ, которыя были чужды непосредственному вліянію ея мужа. Всѣ думали, что въ ея лицѣ заключается всеобщее надежное «совѣстительство».

Съ кѣмъ она дѣлилась тѣмъ, что взидала, — это была ея тайна, но графъ напрасно думалъ, будто его рѣшительная мѣра отстраненія совѣстителей отъ непосредственнаго участія въ вѣдомствѣ освободила его на самомъ дѣлѣ отъ ихъ вліянія.

— Совѣстительство, какъ лесть, можетъ являться въ разнообразныхъ формахъ, и гдѣ не промчится звѣрь рыскачимъ, тамъ проползетъ змѣю или перепорхнетъ легкой пташечкой. Надо свѣтъ передѣлать или, другими словами, приучить людей, чтобы они въ каждомъ дѣлѣ старались служить дѣлу, а не лицамъ. Вотъ это поистинѣ прекрасная задача, и добромъ вспомнится имя того, кто ей съ умъемъ служить.

Такъ закончилъ свой рассказъ правдивый и умный человѣкъ, со словъ котораго мною теперь передана выше изложенная исторія «о совѣстителѣ».

## СТАРИННЫЕ ПСИХОПАТЫ.

«Что взаправду было и что міромъ  
сложено—не распознаешь».

*В. Даль.*

Полагаю, что рѣдко кому не приводилось слышать или читать рассказъ о какомъ-нибудь болѣе или менѣе любопытномъ событіи, выдаваемый авторомъ или рассказчикомъ за *новое*, тогда какъ повесть эта уже давно сообщена другими въ томъ же самомъ видѣ или немножко измѣненная. И читать, и слышать такія вещи бываетъ досадно. Еще досаднѣе, когда случится самому принять такой рассказъ за дѣйствительную повесть и потомъ неосторожно передать его какъ происшествіе, бывшее съ пріятелемъ или знакомымъ, живущимъ будто тамъ-то и тамъ-то. И вдругъ оказывается, что все это или было когда-то очень давно, въ Нормандіи, съ барономъ, который имѣлъ большую слабость къ исамъ и жилъ съ деревенскою простотою, или же и вовсе этого никогда еще нигдѣ не было. Такіе смѣшныя, а отчасти иногда и непріятныя казусы бывали, я думаю, съ каждымъ; но частный человѣкъ, не занимающійся литературою, не знаетъ, какъ легко можно подпасть тому же самому при литературныхъ занятіяхъ и во сколько досаднѣе и обиднѣе понастѣя съ этимъ не въ устной бесѣдѣ, а съ занесеніемъ «чернымъ по бѣлому». Между тѣмъ въ послѣднее время, Богъ вѣсть по какимъ причинамъ, въ нашей литературѣ безпрестанно начинаютъ встрѣчаться сказанія о такихъ исторіяхъ, которыя уже давно оновѣданы.

И еще того удивительнѣе, замѣчаются случаи, когда вы-

мысленный рассказ послѣ весьма небольшого промежутка времени объявляется за дѣйствительное событіе, или съ маленькими измѣненіями пересказывается заново какъ фактъ, имѣнній будто бы дѣйствительное бытіе въ другомъ мѣстѣ.

Въ первомъ родѣ мы не разъ доходили до повторенія заново старой выдумки объ «шперболѣ», поѣдавшей много сѣна, а во второмъ — я могу указать два лично меня касающіеся случая: первый былъ съ моимъ «Сказомъ о тульскомъ косомъ лѣвшѣ и о стальной блохѣ», а второй — съ рассказомъ «Путешествіе съ нигилистомъ». Оба эти рассказа нѣсколько лѣтъ тому назадъ мною *выдуманы* и напечатаны — первый въ «Руси», П. С. Аксакова, а второй — въ «Новомъ Времени», А. С. Суворина; но «Лѣвшу» критики объявили исторіей, которая имъ будто давно была извѣстна, а съ «Путешествіемъ съ нигилистомъ» случилось нѣчто еще болѣе странное. Этотъ послѣдній рассказъ состоялъ въ томъ, что нѣсколько человекъ, ѣдучи въ вагонѣ желѣзной дороги, вели будто бесѣду о различныхъ странахъ и мало-по-малу наэлектризовались до того, что сами начали всего бояться. Вдругъ имъ стать казаться подозрительнымъ молчаливымъ пассажирѣмъ, передъ которымъ на лавочкѣ помѣщался маленькій чемоданъ. Отчего этотъ господинъ все молчитъ? Чтò это за поведеніе? Зачѣмъ передъ нимъ стоитъ чемоданчикъ? Чтò у него въ этомъ чемоданѣ? Можетъ-быть, это и есть «трахъ-тарарахъ»? И навѣрное такъ... Даже не можетъ быть иначе... Иначе онъ сдать бы чемоданчикъ въ багажъ — и тогда столь очевидная опасность для всѣхъ пассажировъ значительно уменьшилась бы...

Пассажиры обезпокоились и посылаютъ къ знакомцу депутата съ вѣжливой просьбой удалить проклятый «трахъ-тарарахъ» изъ вагона. Посоль говоритъ: «не желаете ли вы сдать этотъ чемоданъ въ багажъ?» Пассажиръ отвѣчаетъ: «Не желаю». — «А! въ такомъ случаѣ мы къ начальству». Кондуктора, жандармы, станціонные — всѣ приступаютъ съ вопросомъ: «не желаете ли сдать», — но пассажиръ всѣмъ даетъ одинъ отвѣтъ: «Не желаю». И голосъ у знакомого недобрый, и тонъ подозрительный, и видъ ожесточенный. Всѣ рѣшаютъ, что это «нигилистъ». Его берегутъ, глазъ съ него не спускаютъ и, наконецъ, у городской станціи требуютъ, чтобы онъ вышелъ. Онъ выходитъ очень охотно, потому что ему тутъ и надо было выйти,

но чемодана брать не хочет. — «Не желаете ли взять съ собою этотъ чемоданъ?» Онъ отвѣчаетъ: «Не желаю». Это ведутъ къ допросу, спрашиваютъ, кто онъ такой, и узнають, что онъ «прокуроръ судебной палаты», а чемоданъ оказывается принадлежащимъ еврею, который скрывался безъ билета подъ лавкою. — Картина. Все успокаиваются, смѣются и ѣдутъ далѣе... И вдругъ все это вымышленное мною шуточное событіе будто бы повторяется въ действительности, и гдѣ же? — въ Италіи, съ председателемъ окружного суда изъ Равенны, проѣзжавшимъ черезъ маленькій городокъ Форли. Есть кое-какая перемѣна въ лицахъ и обстановкѣ, сообразно условіямъ мѣстности, но вся фабула та же.

Узнавъ объ этомъ 11-го января изъ «Новостей», я не только изумился, но даже испугался...

— Какъ, подумалось мнѣ: — неужто и до того должно было дойти, что «оскуднѣіе» ощущается уже не въ области литературнаго вымысла, но даже въ самой жизни, избрѣтательность которой всегда почиталась столь разнообразною и неистощимою. Неужто и она вдругъ притупѣла и вмѣсто того, чтобы постыждать насъ блѣдностію нашихъ измысленій передъ живостію истинныхъ событій, она нисходитъ до того, чтобы разыгрывать на своихъ клавишахъ несовершенные наброски нашей композиціи... Но, однако, къ счастью, еще не утрачено право думать, что это не такъ. — что действительная жизнь нашихъ литературныхъ фантазій не разыгрываетъ, а совпаденіе, какое случилось въ Италіи послѣ моего разсказа, придумано, быть-можетъ, знакомымъ съ русскимъ языкомъ нѣмецкимъ корреспондентомъ.

И мнѣ сталъ припоминаться цѣлѣй роіи болѣе или менѣ замѣчательныхъ исторій и исторіекъ, которыя издавна живутъ въ той или другой изъ русскихъ мѣстностей и постоянно передаются изъ устъ въ уста, отъ одного человека другому. Большинство изъ нихъ пользуется репутаціей самыхъ достовѣрныхъ событій и сообщается съ указаніемъ собственныхъ именъ, мѣста и времени событій. Разказы эти ведутся такъ, что усомниться въ справедливости ихъ часто значило бы оскорбить не одного разсказчика, но всю мѣстную публику, разделяющую его вѣрованія, а между тѣмъ вѣрить въ действительность упоминаемыхъ событій очень трудно и иногда даже совѣтъ невозможно.

Между тѣмъ все подобныя исторіи должны быть дороги

литературѣ и достойны сохраненія ихъ въ ея записяхъ. Эти исторіи, какъ бы кто о нихъ ни думалъ,—есть современное продолженіе народнаго творчества, къ которому, конечно, непростительно не прислушиваться и считать его за ничто. Въ устныхъ преданіяхъ или даже въ сочиненіяхъ этого рода (допустимъ, что есть чистѣйшія сочиненія) всегда сильно и ярко обозначается настроеніе умовъ, вкусовъ и фантазій людей даннаго времени и данной мѣстности. А что это дѣйствительно такъ, въ томъ меня достаточно убѣждаютъ записи, сдѣланныя мною во время моихъ скитаній по разнымъ мѣстамъ моего отечества. Такъ, напримѣръ, въ преданіяхъ (или, пожалуй, въ вымыслахъ) малороссійскихъ всегда преобладаетъ характеръ *героическій*, напоминающій средство здѣшней фантазій съ вымыслами польскихъ сочинителей апокрифовъ о «панѣ Коханку», а въ исторіяхъ великорусскихъ и особенно столичныхъ, петербургскихъ — больше сказывается *находчивость*, бойкость и тонкость плутовскаго пошиба. Очевидно, фантазія людей данной мѣстности выражаетъ ихъ настроеніе и, такъ сказать, создаетъ сама себѣ *своихъ козырей* для своей игры. Но замѣчательно, что все эти козыри, какъ герои, такъ и плуты,—все въ своемъ родѣ выходятъ какъ будто въ свою очередь тоже и «*психонаты*».

И очень цѣню такія исторіи, даже и тогда, когда историческая достовѣрность ихъ не представляется надежною, а иногда и совсѣмъ кажется сомнительною. По моему мнѣнію, какъ вымыселъ или какъ сплетеніе вымысла съ дѣйствительностью — онѣ даже любопытнѣе. И передамъ здѣсь нѣкоторыя изъ нихъ не только затѣмъ, чтобы сохранить эти памятники общественнаго творчества, но и для того, чтобы вызвать нѣкоторымъ изъ нихъ этимъ путемъ провѣрку. Быть-можетъ, то, что мнѣ кажется невѣроятнымъ, или сочиненнымъ, или замѣшваннымъ изъ какихъ-то постороннихъ источниковъ, — происходило и на самомъ дѣлѣ, но только перешачено и преувеличено. Кто-нибудь изъ мѣстныхъ людей можетъ отозваться къ моимъ записямъ и поправить ихъ свѣдущими сообщеніями и тогда предъ нами предстанетъ рядъ житейскихъ курьезовъ, которые до сихъ поръ не переходятъ за границу своихъ мѣстностей.

И начну съ *героическаго*, — съ рассказовъ малороссійскихъ, въ которыхъ болѣе грандіознаго, паивнаго и, какъ

миѣ кажется, преувеличеннаго, но во всякомъ случаѣ весьма своеобразнаго.

## Эпопея о Вишневскомъ и его сродникахъ.

Вотъ самъ помѣщикъ благодатный,  
Изъ непосредственныхъ натуръ.

*И. Тургеневъ.*

### ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Въ переяславскомъ уѣздѣ, полтавской губерніи, былъ помѣщикъ Иванъ Гавриловичъ Вишневскій. Онъ получилъ отъ щедротъ императрицы Елисаветы Петровны большое имѣніе по обоимъ берегамъ рѣки Суной (рѣки Удаи и Суной отмѣчены въ одной географіи «неспособными къ судоходству по множеству пороковъ»). Имѣніе это состояло изъ двухъ большихъ деревень, изъ которыхъ одна называлась Фарбованая, а другая Сосновка.

Старый панъ Иванъ Вишневскій жилъ и умеръ въ этомъ имѣніи, а послѣ его смерти Фарбованая и Сосновка достались сыну его, Степану Ивановичу Вишневскому, который оставилъ по себѣ героическую извѣстность,—можетъ быть сильно дополненную и разукрашенную домыслами во вкусѣ мѣстной фантазіи.

Степанъ Ивановичъ былъ атлетъ и богатырь, а притомъ также хлѣбосоль, самодуръ и преужасный развратникъ, но имѣлъ образованіе. Онъ былъ однимъ изъ тѣхъ молодыхъ людей, которыхъ императрица Екатерина посылала въ Англію «для просвѣщенія ума и сердца».

По возвращеніи изъ Англіи онъ поступилъ на службу въ конно-гвардейскій полкъ, но какъ только дослужился до чина поручика—вышелъ въ отставку, женился на тверской дворянкѣ, дѣвицѣ Степанидѣ Васильевнѣ изъ рода Шубинскихъ, и поселился въ Москвѣ въ собственномъ домѣ.

Дѣлать Вишневскому здѣсь было нечего, и онъ началъ «чудить».

Прежде всего онъ надумалъ импортировать москвичамъ своей хохладкой «нацией». Онъ не хотѣлъ никого знать,—одѣвался по-хохлацки, много пилъ «запридыху» и ѣлъ будто одно только медвѣжье мясо.

Императрицѣ доложили, что Вишневскій «не соблюдаетъ

свѣтскихъ приличій», и тогда самодуру было сдѣлано замѣчаніе. Онъ рѣшился исправиться и съ этою цѣлью вытребовалъ себѣ изъ Малороссіи въ Москву хохлацкую телѣгу съ парюю воловъ и паробка, который умѣлъ этими волами править. А какъ только наступилъ день обычныхъ и для всѣхъ видныхъ лицъ въ столицѣ обязательныхъ визитовъ, Степанъ Ивановичъ собрался «обѣзжать всѣхъ именитыхъ людей съ визитами». Но выѣхалъ онъ не на легкѣ, въ одномъ экипажѣ, а съ цѣлымъ поѣздомъ. Впередѣ скакалъ жокей на кургузой англійской кобылѣ, за нимъ слѣдовала цугомъ запряженная прекрасная карета, въ которой сидѣлъ камердинеръ, а за каретою ѣхала телѣга, или хохлацкій «возъ», заложенный парюю свихъ, круторогихъ воловъ, и на этомъ возу помѣщался панъ Степанъ. Онъ сидѣлъ, какъ обыкновенно садятся малороссійскіе крестьяне, — т. е. по срединѣ телѣги, на гучкѣ раскинутой ржаной соломы, и курить съ флегматическимъ спокойствіемъ коренковую трубку излюбленнаго хохлацкаго фазона. Волами править хохоль въ затрапезныхъ шароварахъ «ширше облака», въ дегтярной рубахѣ съ прямымъ воротомъ, въ «тяжкихъ чоботахъ» и въ высокой смушковой шапкѣ. Хохоль шелъ около воловъ съ батономъ и придерживалъ ихъ за ременный налыгачъ, «щобъ ни злякались якъ торохтыть геродъ», а самъ покрякивалъ гдѣ надо: «цо-бе», а гдѣ надо: «цобъ».

Жокей имѣлъ списокъ особъ, которыхъ долженъ былъ посѣтить этотъ задичавшій европеецъ. Справляясь съ спискомъ, жокей скакалъ впередъ и, прискакавъ на дворъ стоявшаго въ списокѣ вельможнаго лица, возвѣщлъ: а

— Мій панъ іде!

А когда поѣздъ показывался, жокей оборачивался къ нему лицомъ и опять въ голосъ кричалъ:

— Ось самъ панъ Вишневски прихавъ!

Тогда карета останавливалась у крыльца, изъ нея вытѣзали камердинеръ Степана Ивановича и шелъ спрашивать, угодно ли хозяевамъ принять его господина?

Если Вишневскаго принимали, — тогда карета отѣзжала далѣе, а къ крыльцу подѣзжалъ «возъ» на парѣ воловъ, и Степанъ Ивановичъ входилъ въ нокон и щедро одарялъ всю попадающуюся ему на глаза хозяйскую прислугу. Въ апартаментахъ онъ велъ себя барцомъ и европейцемъ,

щеголяя прекрасными манерами, отличнымъ знаніемъ языковъ и острою ѣдкостью малороссійскаго ума.

«Бо бувъ собі шутковатій, и знавъ усе по-хрянцузьски и по-вложски и на усі языки умівъ хвалыть Господа. Але тилько до того бувъ лїнивый».

## ГЛАВА ВТОРАЯ.

Бѣль Вишнеvesкій, какъ выше сказано, будто бы только одну медвѣжатину и для того содержалъ въ одномъ изъ тверскихъ имѣній жены «медвѣжій питомникъ». Медвѣдей тамъ кормили и доставляли въ Москву, къ столу Степана Ивановича. Къ полиціи Вишнеvesкій имѣлъ врожденную и непобѣдимую ненависть, и ни одинъ полицейскій не смѣлъ отважиться войти къ нему во дворъ, не рискуя натерпѣться всяческихъ обидъ, если только попадется на глаза Степану Ивановичу. Домъ Вишнеvesкаго въ Москвѣ для полиціи былъ недоступенъ и, по тому ли, или по другому, скоро получилъ себѣ весьма таинственную и нѣсколько недестную пзвѣстность. Больше всего ей помогали безправственные инстинкты Вишнеvesкаго по отношенію къ женщинамъ, или, пожалуй, точнѣе сказать, къ дѣтямъ женскаго пола. Полиція, въ свою очередь, неавидѣла Степана Ивановича и подыекивала случая ему отметить за его невѣжества, но долго никакого удобнаго къ тому основанія не находила. Наконецъ, однако, къ тому представился случай: одинъ разъ дворная собака вытащила на улицу и обронила не совсѣмъ еще лишенную мускульныхъ связей иисть, которая была признана стопою небольшою человеческой ноги. Черезъ нѣсколько дней это еще разъ повторилось. За собакою подемотрѣли и увидали, что она таскаетъ эти кости изъ мусорной ямы. Прислуга сосѣднихъ домовъ стала говорить, что Вишнеvesкій производитъ безчинства надъ своими крѣпостными дѣвочками и потомъ, будто бы, ихъ убиваетъ. Скоро стали производить счетъ дѣвочкамъ, будто бы безвѣстно пропавшимъ, и даже называли ихъ по именамъ.

Полиція не только усмотрѣла въ этомъ достаточный поводъ вмѣшаться въ дѣло, но даже сочла это своею прямою обязанностию,—что и въ самомъ дѣлѣ такъ было. Съ этою цѣлью на дворъ Степана Ивановича явились приставъ и квартальный и приступили къ осмотру той ямы, откуда

собака таскала подозрительныя кости. Вѣрные слуги Степана Ивановича не дозволили полиціи приступить къ осмотру, не извѣстивъ своего «пана». Степанъ Ивановичъ надѣлъ архадукъ, самъ выиель къ полицейскимъ и велѣлъ имъ открыть яму. Тамъ, къ радости полицейскихъ, нашли множество такихъ точно костей, какія послужили поводомъ къ подозрѣнію, но тутъ же было доказано, что это отнюдь не ступни человѣческихъ ногъ, а лапы убитыхъ для стола Вишневскаго молодыхъ медвѣжатъ.

Полицейскіе сконфузились и начали извиняться передъ Степаномъ Ивановичемъ, говоря, что они были вовлечены въ ошибку сомнѣніями и ложными слухами.

Вишневскій ихъ извинилъ и... тутъ же отстегалъ кнутомъ.

Эта острая выходка имѣла для него послѣдствіемъ то, что ему велѣно было оставить Москву и жить въ малороссійскихъ деревняхъ, пожалованныхъ его отцу Ивану Гавриловичу отъ щедротъ императрицы Елисаветы Петровны.

Вишневскій долженъ былъ подчиниться сказанному требованію и переѣхалъ въ переяславскій уѣздъ въ Фарбованую, чтобы колобродить тамъ еще на бѣльшей свободѣ.

Случай съ медвѣжьими лапами приписывается московскими розсказнями нѣсколькимъ лицамъ, и Степану Ивановичу Вишневскому онъ усвоится только одними малороссійскими преданіями, сложившимися преимущественно по равнинамъ, орошаемымъ рѣками Удаемъ и Суносемъ. Что же касается визитовъ по Москвѣ на парѣ воловъ, то въ этомъ родѣ какъ будто что-то было, но въ московскихъ преданіяхъ объ этомъ мнѣ никогда не удалось услышать о такой оригинальной выходкѣ ни малѣйшаго воспоминанія. На этомъ основаніи разсказъ этотъ, кажется, должно считать сомнительнымъ; но между обитателями равнинъ Удая и Суоя много охотниковъ крѣпко стоять за справедливость этой исторіи, и на всѣ доводы о томъ, что это ничѣмъ не подтверждается въ Москвѣ, они съ самоувѣренною презрительностью оттопыриваютъ свои толстыя казацкія губы и говорятъ:

— Отъ тоже,—захотѣлы вы на Москві правду шукать!

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Когда Степанъ Ивановичъ Вишневскій поселился въ своихъ малороссійскихъ маетностяхъ, то онъ себѣ построилъ

дома въ обѣихъ деревняхъ, по обѣ стороны достославнаго Сулоя,—въ Фарбованой и Сосновкѣ. При обонхъ домахъ, ремонтированныхъ на широкую барскую руку, содержались обширные штаты прислуги, выѣзды охоты, конные заводы и гаремы, которыми, впрочемъ, Степанъ Ивановичъ не довольствовался и пользовался еще широко своими правами надшаха на всѣхъ женщинъ своего подданства. Жилъ онъ попеременно то въ одномъ своемъ имѣнцѣ, то въ другомъ, и вездѣ содержалъ разъ установленные имъ своевольные порядки. Онъ считалъ себя въ полнѣйшемъ правѣ приводить всѣхъ, какъ онъ выражался, «въ свою крещеную вѣру» — и свободно и безпрепятственно достигалъ всего, чего желалъ достигнуть.

Между всѣми прихотями его свосравія и здѣсь прежде всего обозначалась ничѣмъ неусмиримая ненависть Вишневекаго къ полиціи. Какъ только онъ прѣхалъ въ деревню, такъ тотчасъ же сдѣлалъ распоряженіе, чтобы ни исправникъ, ни пристава и никто изъ чиновниковъ не смѣли ѣздить по его владѣніямъ съ колокольчиками. Крестьянамъ было приказано, чтобы они останавливали каждаго, кто ѣдетъ съ колокольчикомъ, и освѣдомлялись — кто онъ такой. Если проѣзжающій былъ дворянинъ или вообще частное лицо, то его было велѣно отпустить и при этомъ говорить, что земли, по которымъ онъ ѣдетъ, принадлежатъ пану Вишневескому, и что этотъ панъ «любитъ и шануетъ» честныхъ гостей,—для чего проѣзжающихъ и приглашали «до господы», чтобы «отпочить съ дороги», то-есть отдохнуть отъ путевыхъ трудовъ и «откушать панскаго хлѣбасоли». Если проѣзжающій торопился и не хотѣлъ заѣзжать «на гостиницъ», а учтиво благодарилъ, то его насильно не задерживали, а такъ же «учтиво» позволяли слѣдовать далѣе и не возбражали звонить колокольцемъ. А если проѣзжій не сѣшилъ и изъявлялъ согласіе заѣхать къ пану, то его провожали въ Фарбованую или Сословку, смотри по тому, въ которой изъ этихъ деревень жилъ въ то время панъ Вишневскій.

Степанъ Ивановичъ встрѣчалъ всѣхъ такихъ гостей радушно, не разбирая ихъ чиновъ и званій, и угощалъ ихъ по-тогдашнему роскошно и обильно, — иногда даже слишкомъ обильно, такъ что нѣкоторые отъ его хлѣбосольства даже занемогали. Но приисвоиванія ни въ нищѣ, ни въ штиці

не было, а только все предлагалось «до отвалу», и если кто-нибудь себя превозмогал до излишества, то въ этомъ вины и насилія со стороны Вишневекаго не было, а всякій неосторожный гость долженъ былъ пенять на самого себя, безропотно казнился за свою неумѣренность.

Многимъ изъ гостей, которые оказывались людьми нуждающимися, Степанъ Ивановичъ даже оказывалъ значительное пособіе, а офицерамъ всегда любилъ дарить что-нибудь цѣнное на память. И такой широкій обычай былъ причиною того, что его ласка и хлѣбосольство дѣлали его очень милымъ и любезнымъ. Но чуть только дѣло касалось чиновниковъ и особенно полиціи, — Степанъ Ивановичъ являлся по отношенію къ нимъ самымъ грубымъ тираномъ, и требованія, какія онъ простиралъ къ этимъ несчастнымъ лицамъ, были въ такой степени суровы и для нихъ унизительны, что даже трудно вѣрить—какъ они могли имъ подчиниться и не находили средства оградить себя отъ фарбованскаго причудника.

Какъ только исправникъ или приставъ подъѣзжали къ граничной межѣ владѣній Вишневекаго, они должны были остановиться и подвязать язычокъ колокольчика, чтобы онъ не звонилъ. Иначе крестьяне останавливали блюстителя порядка, должны были *отвязать* колокольчикъ и немедленно отнести его въ господскій домъ къ самому пану. Сопротивленіе со стороны полиціанта угрожало ему двойною опасностью:—быть побитымъ отъ крестьянъ, которые могли производить это въ «панскую голову», т. е. на отвѣтственность самого помѣщика, а потомъ виновнаго отвели бы къ «пану», у котораго всякаго полицейскаго, по меньшей мѣрѣ, ожидалъ невѣроятно унизительный, но съ неупустительною строгостью соблюдавшійся особый церемоніаль.

Покорный и непокорный, честный или притязательный полицейскій чиновникъ былъ у Степана Ивановича «въ одномъ расчисленіи». Въ честность ихъ онъ, впрочемъ, нимало не вѣрилъ и, кажется, на этотъ счетъ не очень сильно ошибался. Правилomъ его было то, что *никакой* чиновникъ ни для какой надобности и ни подъ какимъ предлогомъ не могъ переступить черезъ порогъ его дома. Если исправникъ или приставъ имѣли къ нему служебную надобность или вынуждены были явиться къ нему съ какою-либо претензіею или просьбою, то они знали, что должны ѣхать по

сго владѣніямъ «безъ звона», какъ можно тише и останавливаться у околицы, — отнюдь не смѣя вѣзжать на лошадахъ въ его усадьбу. По усадьбѣ и по двору они обязаны были идти пѣшкомъ и, снявъ шапку у воротъ, проходить мимо оконъ дома не иначе, какъ съ открытою головою.

Иначе, при малѣйшемъ нарушеніи этого правила, надрессированная прислуга сейчасъ же взяла бы ихъ подъ локти и заворотила назадъ, «наклавъ имъ при семъ добре по потылицѣ». А такъ какъ это соблюдалось крѣпко и вѣрно, то никто и не смѣлъ думать ослушаться и сопротивляться. На этомъ, однако, униженія еще не кончались: чиновникъ не допускался датѣ крыльца, подъ которымъ жили огромныя меделянскія собаки. Здѣсь чиновникъ долженъ былъ стоять и ожидать, пока Степанъ Ивановичъ вышлетъ къ нему «комнатнаго казака», то-есть, просто говоря, лакея. Съ лакеемъ чиновникъ долженъ былъ «поздороваться вровняхъ», то-есть подать лакею руку, и затѣмъ только могъ изложить тому же лакею цѣль своего прѣзда къ пану.

Если Вишнеvesкому казалось, что надобность, за которою прѣхалъ чиновникъ, не стоить вниманія, то онъ приказывалъ «прогнать его вонъ». А если надобность была какая-нибудь дворянская или объявленіе ему чего-либо изъ высшихъ сферъ, то Степанъ Ивановичъ надѣвалъ на себя бекешъ, шапку, самъ выходилъ на крыльцо и выслушивалъ чиновника, стоя къ нему все время бокомъ и никогда не глядя ему въ лицо.

Затѣмъ Вишнеvesкій молча уходилъ, а лакей подавалъ чиновнику на тарелкѣ рюмку водки и пятидесятирублевую ассигнацію. Чиновникъ долженъ былъ вынуть водку и потомъ взять себѣ на «закуску» пятьдесятъ рублей (хлѣбасоли въ ихъ натуральномъ видѣ чиновникамъ въ домѣ Вишнеvesкаго не предлагали). Если же чиновникъ, наче чаянія, какъ-нибудь высоко о себѣ мнилъ и не сталъ бы вынимать вынесенной ему на крыльцо рюмки водки, то онъ не могъ получить и денегъ, положенныхъ на закуску. Въ такомъ случаѣ лакей долженъ былъ *столкнуть* его съ крыльца и водку выплеснуть ему въ спину, а закусовые пятьдесятъ рублей взять себѣ въ свою пользу и дернуть за веревку, а эта веревка шла къ желѣзной клемкѣ

отъ двери, за которою сидѣли подъ крыльцомъ меделянскія собаки.

Зная все это, чиновники никогда не отваживались обнаруживать хотя бы самаго малѣйшаго сопротивленія установленіямъ Степана Ивановича и... даже были очень рады, когда имъ встрѣчалась надобность появиться на крыльцѣ фарбованскаго пана.

Если все это несомнѣнно такъ, какъ гласятъ преданія, то 50 рублей на закуску, очевидно, имѣли тогда свою высокую цѣну.

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Въ отношеніи цѣломудрія и нравственности вообще Степанъ Ивановичъ слылъ человѣкомъ безцеремоннымъ и притомъ самымъ наивнымъ. Впрочемъ, въ этихъ отношеніяхъ онъ имѣлъ себѣ очень много подобныхъ и равныхъ, но въ его героической эпопеѣ въ этого рода дѣлахъ чрезвычайно оригинально представляется роль его супруги Степаниды Васильевны, рожденной Шубинской, которую тоже, кажется, есть полное основаніе называть психопаткою, — хотя, впрочемъ, въ иномъ родѣ.

Она была, какъ выше сказано, тверская дворянка и образованная барыня изъ очень хорошаго рода. Супруга своего она любила и жила съ нимъ всегда въ постоянномъ согласіи. Отъ союза ея съ Степаномъ Ивановичемъ у нея были двѣ дочери, изъ которыхъ рожденіе второй было очень неблагополучно, и Степанида Васильевна сдѣлалась «навѣкъ не человѣкъ». Степанъ Ивановичъ сталъ съ нею сенаратничать: если она жила въ Фарбованой, онъ уѣзжалъ въ Сосновку, а если она была въ Сосновкѣ, то онъ сѣзжалъ въ Фарбованую. Видя это и, какъ говорила Степанида Васильевна, «любя своего мужа», она стала прилагать всякія заботы, чтобы онъ «отъ нея не удалялся» и чтобы ему и при ней «жить было не скучно». Съ этою цѣлью она устранивала у себя дѣвичьи посидѣлки, на которыя дѣвушки шли неохотно и со слезами, но Степанида Васильевна ихъ обласкивала и угощала до тѣхъ поръ, пока тѣ освоивались и переставали плакать. Тогда Степанида Васильевна писала мужу и приглашала его къ себѣ «прибыть, на дѣвицъ полюбоваться». А онъ ей отвѣчалъ: «очень тебя благодарю и заботы твои обо мнѣ цѣню, а, впрочемъ,

въ главномъ выборѣ и на твой вкусъ больше, чѣмъ на свой собственный, полагаюсь».

Такой отвѣтъ мужа не только радовалъ, но и умилялъ Степаниду Васильевну. Чувства ея къ Степану Ивановичу горѣли сугубымъ пламенемъ, и она ему въ скорости же опять нетерпѣливо отписывала: «за довѣріе твое, безцѣнный другъ мой, весьма тебя благодарю, и въ разсужденіи моего вкуса, въ чемъ на меня полагаешься, отъ души тебѣ угодить надѣюсь, но только прошу тебя, ангель моей души,—пріѣзжай ко мнѣ сколь возможно скорѣе, потому что сердце мое по тебѣ стосковалось, и ты увидишь, что я не объ одной себѣ сокрушаюсь, но и твой вкусъ понимаю. Дѣти наши объ здоровы и тебѣ кланяются и цѣлуютъ ручки». Подпись: «твоя вѣрная жена и раба Степанида».

Степанъ Ивановичъ, получивъ такое посланіе, оставлялъ отдѣльное житіе и пріѣзжалъ къ супругѣ, которая вполнѣ достигала того, что ему «жить въ одномъ домѣ съ нею стало повилось нескучно».

Она не только ласкала и нѣжила ея же избранныхъ для своего мужа фаворитокъ, но няньчила и выхаживала его дѣтей, которыхъ при такомъ патріархальномъ порядкѣ пашской жизни въ Фарбованой народилось очень много.

Самъ Вишнеvesкій далеко не былъ такъ чистосердеченъ и некрепелъ, какъ его жена: когда растлѣнный нравъ Степана Ивановича начиналъ прискучать тою особою, которая была призвана къ обязанности «дѣлать его жизнь нескучною», Вишнеvesкій начиналъ собираться «пожить одинъ въ другой деревнѣ».

Степанида Васильевна это тотчасъ же понимала и хотя не перечила мужу, такъ какъ миръ и согласіе супружеское она, по завѣту предковъ, ставила выше всего на свѣтѣ, но черезъ нѣкоторое время она опять устранилась и писала ему тихое и ласковое письмо, гдѣ говорила: «Хитрости твои и твой со мною въ важныхъ дѣлахъ неоткровенность очель меня, мой другъ, огорчаютъ и терзаютъ, потому что я ихъ ничѣмъ не заслужила. Богъ видитъ мою правду и истину, что люблю тебя больше всего на свѣтѣ, и отъ разлуки съ тобой сердце мое по тебѣ иссушается какъ трава, но горячая слеза текущая не высыхаетъ. А ту особу, которая незанимательностію своею

тебя утомила и прискучила, я своимъ раченіемъ безъ большихъ хлопотъ совершенно устроила, и всѣ онѣ нынче своимъ положеніемъ теперь вполне довольны и благодарятъ. А ты бы если посидѣлъ ко мнѣ, то могъ бы теперь полюбоваться на очень пріятныя лица. Дѣти же наши обѣ благостію Божіею хранимы.—живы и здоровы и оба отцѣ своемъ молятся». И опять та же подишь: «жена и раба».

Въ отвѣтъ на это отъ Вишневекаго слѣдовали комплименты женѣ, съ повтореніемъ полного довѣрія къ ея вкусу, и затѣмъ Степанъ Ивановичъ вскорѣ возвращался подъ семейный кровъ. Его ждали, разумѣется, тимпаны и лики, ласки и восклицанія, и телець упитанный, и все, все, что было нужно, чтобы сдѣлать его счастливымъ, какъ онъ желалъ и какъ это могла устроить его нѣжная, превѣжная жена, которая имѣла несчастіе изъ живой и очень милой женщины стать «навѣкъ не человѣкъ».

## ГЛАВА ПЯТАЯ.

Послѣ описанныхъ уже перипетій Степанъ Ивановичъ исправился въ отношеніи своей скрытности и недовѣрія и никогда не прибѣгалъ болѣе къ хитростямъ сепаратной политики.

Степанида Васильевна, по словамъ крестьянъ, «доглядала его якъ маты свою дытыну».

Невѣроятная, примитивная простота этихъ отношеній, напоминающая собою библейскій разсказъ о Саррѣ и объ Агари, становится еще невѣроятнѣе, если дать вѣру частностямъ, которыя разсказываютъ о житиѣ этихъ супруговъ.

Степанъ Ивановичъ былъ какой-то чистый турокъ. По отношенію къ своимъ многообразнымъ привязанностямъ онъ совмѣщаль въ себѣ всѣ роды любви, отъ мимоходныхъ неосторожностей до привязанностей къ одалискамъ и къ первой султаншѣ. Мимоходное, конечно, ни во что не ставилось и не подлежить счету; а роль первой султанши, разумѣется, занимала его законная жена, которую онъ, съ своей стороны, тоже, пожалуй, по-своему любилъ и, во всякомъ случаѣ, увѣрялъ, будто очень ее «уважаетъ».

— Если кто сдѣлаетъ что-нибудь противъ меня,—гово-

рилъ онъ: то это я еще, пожалуй, могу простить, но если бы кто-нибудь только помыслилъ вслухъ сдѣлать что-нибудь къ обидѣ Степаниды Васильевны, то кто бы онъ ни былъ, я вездѣ его достану, и самъ царь Иванъ Васильевичъ не выдумалъ такой казни, какою я расказию грубіяна безцѣнной жены моей.

Всѣ это знали и знали тоже, что Степанъ Ивановичъ не шутить и что говорить, то и выполнить, и потому никому и въ голову не приходило обнаружить хоть малѣйшій признакъ неповиновенія или ослушанія Степанидѣ Васильевнѣ. Но не всѣ одинаково разумѣли такую ревнивую заботу Вишневецаго о женѣ, и между тѣмъ, какъ одинъ приписывалъ ее безмѣрной его къ ней иѣжности, другіе усматривали въ этомъ хитрость, которая и въ самомъ дѣлѣ была въ значительной мѣрѣ достуина хохладкой натурѣ Вишневецаго. Думали, что онъ «наговилъ страхъ» всѣмъ за жену болѣе для того, чтобы ея требованія, къ услажденію его жизни любовью крѣпостныхъ одалисокъ, не встрѣчали ни малѣйшаго противорѣчія, такъ какъ всякое самомалѣйшее ослушаніе ея онъ наказалъ бы такъ, что царь Иванъ Васильевичъ во гробѣ бы содрогнулся.

Впрочемъ, было это такъ или иначе, съ положительностію сказать невозможно, но есть положительные разказы, что крайне развращенный и до жестокости безцеремонный въ своихъ мимоходныхъ дѣлахъ, Степанъ Ивановичъ любилъ вносить своеобычную поэзію въ свои отношенія съ одалисками, избранными для него на вкусъ его первой султанни. И онъ умѣлъ достигать этого безъ всякаго принужденія своей натуры, въ которой обнаруживалось въ этихъ случаяхъ иѣчто иѣжное и чувствительное. Онъ, подобно Донъ-Жуану, могъ похвалиться, что не только не оскорблялъ молодыхъ существа грубостію, но даже «никогда не обольщалъ съ холодностью безстрастной». Пѣтъ, онъ пріѣзжалъ въ домъ жены, гдѣ ее любовь приготовила ему утѣху, съ иѣжною ласковостію, и оба супруга вмѣстѣ выносили избранницу «какъ соколку по зорькамъ». Они ее приласкивали, паряжали, лелѣяли, она жила въ комнатахъ Степаниды Васильевны, нестро разодѣтая, утоная въ шѣгѣ и пресыщаясь лакомствами, и сама не замѣчала, какъ переходила изъ одной роли въ другую, словно въ туманѣ долго не сознавая того, что съ нею случилось и чѣмъ это должно

было окончиться. Всѣ эти одалиски вступали въ свою роль въ лѣтахъ едва окончившагося дѣтства, когда еще голова бѣдна опытомъ и представленія о грядущемъ слабы, а жизнь, полная утѣхъ въ настоящемъ, заманчива. Изъ нихъ многія нескренно располагались душою и сердцемъ къ своему повелителю или по крайней мѣрѣ не тяготились имъ, а Степаниду Васильевну даже любили «якъ маты». И она ихъ дѣйствительно ласкала какъ мать и ободряла какъ старшая гаремная подруга, наслаждавшаяся тѣмъ счастьемъ, какое младшія одалиски доставляли ея любимому падишаху. Въ домѣ жена, мужъ и дежурная фаворитка почти не разлучались и бѣльшую частію проводили время втроемъ, но къ нѣкоторымъ изъ одалисокъ Степанъ Ивановичъ пристращался до того, что не могъ съ ними разставаться даже и на одну минуту. Вишневскій пристращался къ возлюбленной не только чувственно, но и любовно, какъ пылкій юноша, и, покидая домъ въ случаяхъ неизбѣжныхъ, бралъ ее съ собою, переодѣтою казачкомъ или аранчикомъ, на попеченіи котораго будто состояли янтари его роскошныхъ чубуковъ и кисеть съ табакомъ, который надобился ему безпрестанно, такъ какъ Степанъ Ивановичъ курилъ даже ночью, и потому «трубочный мальчикъ» былъ при немъ безотлучно.

Полагали, что въ подобныхъ случаяхъ Степаномъ Ивановичемъ до извѣстной степени руководила ревность, но это предположеніе не имѣетъ основанія, такъ какъ Вишневскій, конечно, ничѣмъ не рисковалъ бы, если бы оставилъ дѣвушку на попеченіе Степаниды Васильевны: и потому гораздо вѣрнѣе думать такъ, какъ передавали люди, ближе знавшіе этого малороссійскаго психопата, — то-есть, что онъ просто страстно влюблялся въ своихъ фаворитокъ и не могъ съ ними разставаться до тѣхъ поръ, пока страсть его совершала свое теченіе и остывала.

И чѣмъ страстнѣе была привязанность къ извѣстной одалискѣ со стороны Степана Ивановича, тѣмъ бѣльшую нѣжность и заботу это лицо вызывало къ себѣ со стороны его жены. Проходила страсть у Вишневскаго, и онъ «отъѣзжалъ за Суной», а Степанида Васильевна брала на себя заботу устроить старую «утѣху» и приготовить новую, которая снова возвратила бы фарбованскаго пана съ того берега.

Трагическаго въ этихъ развязкахъ никогда не было. Благодаря такту, сердоболію и щедрости Степаниды Васильевны, всѣ эти дѣла устранивались мирно и ладно, ко всеобщему удовольствію всѣхъ мало-мальски близкихъ къ дѣвушкамъ лицъ. Исключеніе составлялъ единственный случай съ пятнадцатилѣтнею крестьянскою дѣвочкою, занявшею особенно сильное положеніе въ сердцѣ Вишневекаго и оставившею ему сына и непріятный слѣдъ въ его воспоминаніяхъ.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Мѣстные преданія сохранили самое имя этой стройной, «икъ былинка», черноокой дѣвушки, приблизившейся къ своему пану въ довольно уже поздніе годы его жизни. Ее называютъ Гапка Петруенко. Она была такъ хороша, «что ажъ очамъ мило було на нее дивитися», и, какъ показываетъ ея исторія, имѣла сердце чуткое и очень воспримчивую душу. Вишневскій могъ обнять ея тонкій станъ, ея талію перстами своихъ рукъ, и такъ любилъ ее, какъ никакую другую, ни до нея, ни послѣ ея пользовавшуюся его фаворомъ. Онъ одѣвалъ ее въ розовый атласъ и въ кофты, сшитыя изъ дорогихъ турецкихъ шалей, носилъ ее на рукахъ и цѣловалъ ея ноги.

Видя такую неутолимую привязанность мужа къ этой дѣвушкѣ, Степанида Васильевна тоже пѣтовала се до забвенія о себѣ и о своихъ дочеряхъ, изъ которыхъ старшей тогда уже шелъ двѣнадцатый годъ. Степанида Васильевна сама плела на день черныя косы Гапочки, сама ихъ расплетала на ночь и подкуривала ароматами, пахучіи дымъ которыхъ проникалъ густые волосы и держался въ нихъ съ смолистою силою. Она не позволяла ничьимъ низкимъ рукамъ коснуться до ея тѣла и даже сама орошала крѣпкимъ настоемъ душистыхъ розъ ея ноги, къ которымъ на ея же глазахъ въ страстномъ samozабвеніи принадлежъ устами Степанъ Ивановичъ. Словомъ, эта прелестная дѣвушка была фавориткой изъ фаворитокъ, и пребываніе ея въ домѣ Вишневскихъ заключало въ себѣ много отъ всѣхъ отъѣвнаго. Степанъ Ивановичъ, даже выѣзжая на охоту съ борзыми, бралъ Гапку съ собою и не довольствовался тѣмъ, что она, одѣтая черкешенкой, ѣдетъ въ покойномъ рыдванѣ, а бралъ ее отгуда и возилъ передъ собою на сѣдлѣ. Когда же дѣ-

вунка уставала отъ неудобнаго и утомительнаго путешествія на лошади и сонъ начиналъ клонить ея голову,— Вишневскій не отдавалъ ее ни на чьи чужія руки, а тотчасъ же прекращалъ полеванье и бережно, на своихъ собственныхъ рукахъ, везъ Ганочку домой. И Боже сохрани, чтобы кто-нибудь изъ его свиты завелъ въ это время какой-нибудь шумъ и нарушилъ имъ дѣтскій сонъ возлюбленницы пана!.. Виновный не миновалъ бы сырой ямы и ремennыхъ аранишковъ.

Такъ же бережно Вишневскій опускалъ съ рукъ это дитя у крыльца на руки встрѣчавшихъ его людей и самъ сопровождалъ ихъ, когда они переносили Ганку во всякой тишинѣ въ покои Степаниды Васильевны.

Здѣсь ее раздѣвали и укладывали на атласныя подушки широкаго турецкаго дивана, на которомъ съ краю садились и сами сунруги пить чай. И во все это время они не говорили, а только любовались, глядя на спящую дѣвунку. Когда же наставалъ часъ идти къ покою, Степанида Васильевна вставала, чтобы легкою стогою по мягкимъ коврамъ перейти въ смежную комнату, гдѣ была ея опочивальня, а Степанъ Ивановичъ въ благодарномъ молчаніи много разъ криду цѣловалъ руки жены и шепталъ ей:

— Ты мой ангель-хранитель,—я тебя обожаю!

Степанида Васильевна чувствовала и раздѣлила счастье мужа съ способностью, быть-можетъ, ей одной только свойственною по своей неимовѣрной прихотливости.

Она уходила въ спальню, долго тамъ молилась передъ лампадою и потомъ опять неслышными стопами входила въ смежную комнату, гдѣ розовалъ Ганка спала, обнявъ крѣпкими молодыми руками подушки, а атлетическая фигура Вишневскаго лежала на коврѣ, съ головою, прислоненною къ дивану, въ ногахъ спящей дѣвунки.

Степанида Васильевна крестила ихъ обоихъ и уходила на свою вдовью кроватку, и сонъ ея былъ тихъ, миренъ и живителенъ... И во всемъ этомъ странномъ и несогласномъ, повидимому, сочетаніи чувствъ и отношеній она не видала ничего для себя унижительнаго, и даже ничего неудобнаго, а, напротивъ, ей казалось, что все идетъ именно такъ, какъ только можетъ идти лучше.

Безграницная любовь этой женщины къ мужу и огромное несчастье заключавшееся для нея въ условіяхъ ея здо-

ровья, какъ-то смѣшивались, ся нравственныя понятія никому не были ясны и понятны. Передавая эти сказанія въ сборѣ отрывочныхъ свѣдѣній изъ нѣсколькихъ устъ, я не стану и стараться пояснить личность Степаниды Васильевны Винневской какимъ-нибудь болѣе точнымъ опредѣленіемъ. Думаю лишь, что по нынѣшнимъ временамъ это подходило бы къ тому, что называютъ «*misogynie*». Я передаю только любопытный рассказъ, какъ самъ его слышалъ, и не произношу надъ характерами и правилами героевъ этихъ легендарныхъ сказаній никакой своей критики.

Я думаю, что дѣло главнымъ образомъ теперь не въ критикѣ, отъ которой всѣ именуемая здѣсь лица ушли уже въ царство тѣней, а въ сохраненіи на память потомству удивительной непосредственности ихъ характеровъ и прихотливой, оригинальной ихъ жизни.

Намъ хорошо извѣстны бурныя натуры нашихъ великорусскихъ дворянъ, при которыхъ, по выраженію поэта, жизнь «текла среди шировъ, безсмысленнаго чванства, разврата мелкаго и мелкаго тиранства,—гдѣ хоръ подавленныхъ и тресетныхъ людей завидовалъ житью собакъ и лошадей». Здоровое, реальное направленіе нашей русской литературы, быть-можетъ, порою заслуживающей и укоры за излишній реализмъ, показало намъ нашу великорусскую жизнь налицо. Мы знаемъ, каковы наши «ветхіе мѣхи», затрещавшіе при игрѣ влѣтаго въ нихъ молодого вина; но писатели малороссійскаго происхожденія не слѣдовали нашему, можетъ-быть, единственно полезному въ настоящее время литературному направленію. Жизнь малороссійскаго козырнаго барства отъ насъ скрыта романтизмомъ или крайнимъ протонародничествомъ малорусскихъ писателей. Если она гдѣ-нибудь изрѣдка и представляется, то почти всегда въ напыщенныхъ формахъ, напоминающихъ безкончныя польскія исторіи о «папѣ Коханку». Межъ тѣмъ малороссійское барство имѣетъ свою оригинальность, которая стѣбитъ изученія и которая въ то же время способна проливать довольно яркій свѣтъ на тѣ особенности малороссійскаго характера, какія, по замѣчанію Шевченко, представляютъ міру «славныхъ прадідовъ великихъ праунокъ погани».

Небезполезно посмотрѣть на представителей той середины генерации, которая лежитъ пластомъ между «праді-

дами и прауроками», между тѣми, которыхъ національный поэтъ величалъ «великими», и тѣми, которыхъ онъ считалъ за «поганныхъ». Передъ нами теперь фигуры, стоявшія на водораздѣлѣ этихъ двухъ главныхъ теченій, изъ которыхъ одно несло будто на себѣ малороссійскій край къ незапятнанному величію, а другое повлекло его къ неисправимому «поганству».

Въ мірѣ «все причинно, послѣдовательно и условно», и потому въ цѣпи могутъ измѣняться фасоны звеньевъ, но тѣмъ не менѣе все-таки звено за звено держится и одно къ другому непремѣнно находится въ соотношеніи.

Собирая въ одну записъ то, что мнѣ приводилось слышать о Вишневскомъ и его сродникахъ, я думаю, что я берегаю этимъ литературѣ звено чего-то пропущеннаго и до сихъ поръ сохранившагося только въ однихъ преданіяхъ. Пусть они и не совсемъ вѣрны, но даже и въ такомъ случаѣ они интересны,—какъ мѣстное народное творчество, указывающее, что поражало и что вдохновляло людей съ фантазіей, или что имъ нравилось.

Продолжаю о Вишневскомъ.

За нѣсколько строкъ предъ симъ мы оставили могучаго фарбованскаго пана спящимъ на коврѣ у ногъ своей сельской нимфы. Оставимъ ихъ и еще въ этомъ положеніи, изяснитѣе и поэтичнѣе котораго, кажется, не было въ его своеобразной, безалаберной и ни въсть чему подобной жизни. Пусть они, какъ малороссы говорятъ, «отпочнуть» здѣсь сладко до зари того дня, который омрачилъ ихъ счастье и спокойствіе и въ чашу любовныхъ утѣхъ пана выжалъ каплю горькаго омега.

Ниже мы встрѣтимъ случай, при которомъ будетъ мѣсто изложить это происшествіе, составлявшее высшій, кульминаціонный пунктъ душевныхъ страданій и нравственнаго возбужденія Вишневскаго, — вслѣдъ зачѣмъ опять пошли своимъ чередомъ любовныя смѣны, не захватывавшія выше того, что нами уже описано, но зато не оставлявшія Степана Ивановича до самой его смерти.

Очеркнемъ теперь, какъ можемъ и какъ умѣемъ, другія стороны его дѣятельности и характера.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Какъ отецъ и какъ воспитатель, Вишневскій ни въ

одномъ изъ слышанныхъ мною о немъ разсказовъ не занимать никакихъ характерныхъ положеній, а упоминается только какъ *родитель*. Впрочемъ, говорятъ, что когда въ Петербургѣ «заводились институты» и именитое дворянство, по желанію государыни, получило приглашеніе привозить туда для воспитанія дѣвиць, то Степанъ Ивановичъ ѣздилъ въ Петербургъ и самъ отвезъ туда дочь. Но и это обстоятельство воспоминается не для того, чтобы обозначить ея родительскую заботливость Вишневекаго, а потому, что эта поѣздка оказалась въ связи съ другимъ любопытнымъ событіемъ, о которомъ ниже будетъ разсказано. Какъ помѣщикъ, въ качествѣ хозяина, судьи и наказателя душъ подвластныхъ ему крѣпостныхъ людей, Вишневскій тоже не представлялъ собою особой оригинальности. Онъ правилъ хозяйствомъ «якъ повелось изъ давняго времени». Все дѣлалось черезъ крѣпостныхъ или наемныхъ приставниковъ, изъ православныхъ и изъ поляковъ. Вишневскій держалъ при себѣ на службѣ нѣсколько челоуѣкъ поляковъ, къ которымъ не питалъ никакой вражды, но любилъ иногда надъ ними забавляться. Было и нѣсколько евреевъ, которыхъ психовать любилъ пугать разными страхами. Не одного изъ нихъ онъ заморилъ и загналъ страхомъ со свѣта, но они все къ нему лѣзли, потому что Вишневскій иногда бывалъ щедръ и бросалъ имъ что-нибудь на разживу. Впрочемъ, комисіонерскихъ услугъ отъ евреевъ онъ не чуждался. Только Боже спаси было его обмануть... Онъ не столько больно запреть розгами или плетью, сколько истерзаетъ страхомъ. У Вишневекаго былъ и патріотизмъ, выразившійся, впрочемъ, à la l'ougue пристрастіемъ къ малороссійскому жуналу и къ малороссійской рѣчи, а затѣмъ—въ презрѣніи къ иноземцамъ. Особенно онъ не благоволялъ къ нѣмцамъ, которыхъ не находилъ возможности уважать по двумъ причинамъ: во-первыхъ, что они «тонконоги», а во-вторыхъ — вѣра ихъ ему не правила — «святителей не почитаютъ». Степанъ Ивановичъ думалъ, что самъ онъ «святителей почитаетъ». Въ вопросахъ вѣры онъ былъ невѣжда круглый и ни въ критику, ни въ философію религіозныхъ вопросовъ не пускался, находя, что «се діло поновское», а какъ «лицарь» онъ только ограждалъ и отстаивалъ «свою вѣру» отъ всѣхъ «иноувѣрныхъ», и въ этомъ пунктѣ смотрѣлъ на дѣло взглядохъ народнымъ, почитая «христіанами» однихъ

православныхъ, а всѣхъ прочихъ, такъ-называемыхъ «инославныхъ» христіанъ считалъ «недовѣрками», а евреевъ и «всю остальную сволочь» — *поганцами*. Иностранецъ и «даже нѣмецъ» могъ попасть къ столу Степана Ивановича, и одинъ — именно нѣмецъ — даже втерся къ нему въ домъ и пользовался его довѣріемъ, но все-таки, прежде чѣмъ допустить «недовѣрка» къ сближенію, религіозная совѣсть Вишневскаго искала для себя удовлетворенія и примиренія съ собою. У Степана Ивановича, который, по собственному его сознанію, «катехизицу не обучався», хорошо сложился и очень конкретно оформился имъ самимъ составленный чинокъ для пріятія инославныхъ.

Степанъ Ивановичъ говоритъ «поторю» или «каторьку»:

— Ну, а все же вѣдь ты хоть и не по-нашему вѣришь и молишься, по Николу угодника ты навѣрно уважаешь?

Испытуемый «иновѣръ» зналъ по достовѣрнымъ слухамъ, что бы такое съ нимъ произошло, если бы онъ посмѣлъ сказать, что онъ не уважаетъ угодника, за котораго стоитъ фарбованскій нанъ... Онъ бы сейчасъ узналъ — крѣпки ли стулья, на которыхъ Степанъ Ивановичъ сажаетъ своихъ гостей, и гибки ли лозы, которыя растутъ, купая свои вѣточки въ водахъ Супоя. А потому каждый инославецъ, которому посчастливилось расположить къ себѣ Вишневскаго до того, что онъ уже заговорилъ о вѣрѣ, — отвѣчалъ ему какъ разъ то, что требовалось по чину «пріятія».

— О, да! — отвѣчалъ вопрошаемый инославецъ: — какъ же не уважать Николу, — его весь свѣтъ уважаетъ.

— Ну, чтобы «весь свѣтъ» — это ужъ ты, братъ, не-мощко хватилъ лишнее, говорилъ Степанъ Ивановичъ: — ибо надлежитъ тебѣ знать, что святой Никола природы московской, а ты поужай нашего «русскаго Юрка».

Слово «русскій», въ смыслѣ малороссійскій или южно-русскій, тогда здѣсь рѣзко противопоставлялось «московскому» или великороссійскому, сѣверному. Московское и «русское» — это были два разные понятія, и на небѣ, и на землѣ. Земныя различія всякому были видимы тѣлесными очами, а расчисленія, относимыя къ небесамъ, познавались вѣрою. По вѣрѣ же, великорусскія дѣла подлежали заботамъ чудотворца Николая, какъ покровителя Россіи, а дѣла южно-русскія находили себѣ залциту и опору въ понеченіяхъ особенно расположеннаго къ малороссія-

памъ святого Юрія, или, по нынѣшнему произношенію, св. Георгія (по-народному «Юрко»).

Всякій инославецъ, выдержавъ испытаніе о св. Николаѣ, конечно, еще тверже говорилъ Вишневскому, что онъ уважаетъ святого Юрія «еще больше, якъ Николу».

Это Степану Ивановичу нравилось. Тѣмъ вся катехизація новопріемлемаго оканчивалась, и воссоединеннаго уже никогда болѣе разновѣріемъ не попрекали. Даже если кто-нибудь невзначай касался словомъ ихъ разницы, то Степанъ Ивановичъ это останавливалъ, говоря:

— Никакой нѣтъ разницы: онъ и Николу уважае, а святого Юрко еще больше.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Такъ исправившіе себя инославцы всходили на самыя перси психопата, а нѣмецъ даже управлялъ почти безотчетно однимъ имѣніемъ и такъ широко пользовался своими полномочіями, что дѣлалъ почти все то самое, что дѣлалъ и Вишневскій.

Степанъ Ивановичъ только въ разсужденіи женщины не позволялъ ему простирать требованій къ себѣ на дворъ, дабы никто не видалъ женщины настоящаго, греческаго закона «входящей къ нѣмцу». Изъ этого для нея могъ произойти срамъ, унижительный даже и для могущаго явиться ребенка. Нѣмецъ обязанъ былъ надѣвать лѣтомъ холодный, а зимою ватный халатъ и картузь, и брать въ руки фонарь и идти самъ на деревню, въ сопровожденіи десятника, который «отвѣчалъ за его жизнь». А нѣмецъ былъ только ограничиваемъ однимъ наказомъ, чтобы отъ него не было никакого размноженія «нѣмецкой прибыли, а все шло въ прибыль русскую».

Но деталямъ это казалось только частными ограниченіями, но въ общей сложности всего выходило, что нѣмецъ жаловался Степану Ивановичу, говоря:

— Никакъ невозможность.

— А почему бы это такъ?

— Все удирается!..

Это означало, что какъ только нѣмецъ выходилъ въ свой почной походъ въ длинномъ сивальномъ халатѣ и съ фонаремъ въ сопровожденіи «отвѣчнаго за его жизнь», такъ

всѣ его издали видѣли и всѣ, кому угрожало по направле-  
нію его посѣщеніе, разбѣгались и прятались.

Степанъ Ивановичъ объ этомъ какъ будто сожалѣть, но ни-  
чего въ установленномъ имъ порядкѣ отмѣнять не позволялъ.

— Безъ фонаря и безъ провожатаго тебя пришибутъ и  
выпотрошатъ, и отвѣчать за тебя мнѣ будетъ некому,—го-  
ворилъ онъ, какъ будто искренно признавая установленный  
имъ порядокъ за необходимое; но близко изучившіе его люди  
замѣчали, что притомъ, какъ онъ обсуждалъ съ нѣмцемъ  
его дѣло,—«одинъ усъ» у Степана Ивановича «смѣлся».

У него, какъ у настоящаго психоната, многое безтолко-  
вое соединялось съ хитрымъ и было такъ «пересыпано»,  
что «не можно было добрать, що вінъ вередуе».

Игривыя штуки его съ нѣмцемъ кончились тѣмъ, что  
тотъ все ходилъ мерцающаго своимъ фонаремъ, какъ иванов-  
скій жукъ въ травѣ, пока, наконецъ, въ сѣняхъ одной кре-  
стьянской хаты ему отмяли бока, и провожатый, отвѣчав-  
ній за его жизнь, принесъ его домой, гдѣ тотъ и не за-  
медлилъ отдать Богу свою нѣмецкую душу, пожившую здѣсь  
съ почтеніемъ къ святителю Николаю и къ св. Георгію.

Но, несмотря на самоподчиненіе этого нѣмца назван-  
нымъ святымъ, Степанъ Ивановичъ все-таки нанелъ, что  
его недостойно было хоронить внутри кладбища, «вмѣстѣ  
съ родителями правой восточной вѣры», а указать зако-  
пать его «за оградю» и не крестъ поставить надъ нимъ,  
а положить камень, «дабы притомленные люди могли на  
немъ присѣсть и отпочить».

Все онъ во всѣхъ случаяхъ держалъ какой-то особый,  
но въ своемъ родѣ очень сообразный тонъ, обличавшій въ  
немъ и юморъ, и почтительность къ родной вѣрѣ, утвер-  
ждавшейся для него не столько на катехизическомъ ученіи,  
какъ на св. Николѣ и на Юркѣ. Но Богу единому вѣдомо,  
было ли это такъ, какъ выдавалъ Степанъ Ивановичъ, и  
не располагало ли имъ что-либо иное.

Для выраженія полноты религіознаго культа Вишнев-  
скаго остается прибавить, что почитать или обожать св. Ни-  
колая и св. Георгія тоже дозволялось не всякому, а только  
однимъ христіанамъ инославныхъ исповѣданій. Тѣ ласкою  
и почтеніемъ къ этимъ святымъ откунались отъ бѣды и  
входили въ милость у Степана Ивановича. Но евреямъ онъ  
отнюдь не позволялъ приобѣгать подъ защиту этихъ свя-

тыхъ, и даже тѣхъ, которые обнаруживали къ этому хоть малѣйшую склонность,—подвергалъ изысканію. Такъ, былъ одинъ еврей, который въ чемъ-то обманулъ Степана Ивановича и былъ за то назначенъ къ поркѣ. Когда его повлекли отъ крыльца, съ котораго Вишневскій изрекалъ свой судъ,—сврей этотъ сталъ упирается и, жалостно кривляясь, кричалъ:

— Ой, клии жъ я шаную... я шаную и Мыколу... шаную и Юрко...

Степанъ Ивановичъ велѣлъ лекторамъ остановиться и переспросилъ трясушагося жидка:

— Что ты такое кричишь?

— Клии я шаную... Клии я шаную...

— Не лопочи,—скажи спокойно, кого шануешь?

— Ой же усихъ... ой обоихъ шаную... святого Мыколу и святого Юрка.

— Ну, это ты напрасно...

— Ой, отчего... ой, зачѣмъ напрасно... Клии жъ вони милостивы... можетъ, вони меня помилуютъ.

— Да, они милостивы, — это совершенно правда, но имъ, братку, никакого дѣла нѣтъ за жидовъ заступаться,— у васъ есть свой Моисей, ты его и кличь, когда тебя пороть будутъ; а за то, що ты осмѣлился своими жидовскими устами произнести такое свячене имя,—прибавьте ему, хлопци, еще десять плетюгановъ за Мыколу, да двадцать пять за святого Юрка, що бы не дерзаль ихъ трогать.

И несчастнаго сврейчика, конечно, отвели куда надо, и задали ему все, что было назначено за обманъ,—съ прибавкою тридцати пяти ударовъ за неумѣство, по мнѣнію Вишневскаго, ласкательство къ Николѣ и къ св. Георгію,—причемъ и тутъ тоже честь этихъ двухъ святыхъ не была сравнена, а за Николу давалось только десять «плетюгановъ», тогда какъ за св. Юрія двадцать пять.

Разумѣется, это дѣлалось неспроста, а по большому почтенію и любви къ св. Юрію.

«Бо се, выбачайте, нашъ, русскій, а не зъ московской стороны».

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Упомянувъ не разъ, что Степанъ Ивановичъ отдавалъ видимый преферансъ тому, что исходило «не зъ стороны

московской», я долженъ предупредить читателя, чтобы онъ не посягнулъ счесть Вишневекаго политикомъ, сепаратистомъ или, какъ нынче называютъ, «хохломаномъ». Правда, что тогда на хохломанство не только смотрѣли сквозь пальцы, но даже совсѣмъ и знать о немъ не хотѣли; но если бы кто приступилъ къ душѣ Степана Ивановича и «со всякимъ испытаніемъ», то онъ не нашелъ бы тамъ ничего политическаго. Вѣрнѣе всего, онъ почувствовалъ бы себя тамъ какъ въ амбарѣ, гдѣ все навалено и все, почитай, есть, но никто толкомъ ничего не отыщеть. Вишневскій противорѣчилъ рѣшительно всѣмъ, кромѣ своей первой жены, здѣсь уже довольно подробно описанной Степаниды Васильевны, изъ рода тверскихъ дворянъ Шубинскихъ. Если собесѣдникъ былъ хохломанъ и хвалилъ все малороссійское, то Вишневскій непремѣнно хотѣлъ выставить недостатки малороссійскихъ нравовъ, и дѣлалъ это съ талантомъ, доводя свои сравненія до большой мѣткости и ѣдкости. Тогда онъ усердно похвалялъ Польшу, особенно Батура и Собіесскаго,—называлъ «Богдана» великимъ «пьянычкой» и приводилъ споръ къ рѣшительной, по его мнѣнію, формулѣ, что «Польша впала и насъ задавила». Но отзывался кто-нибудь со вздохомъ за Польшу,—и Степанъ Ивановичъ сейчасъ перемѣнялъ валъ въ своемъ органѣ и велъ рѣчь на великорусскій мотивъ.

— То правда,—говорилъ онъ: — були у нихъ вольности и поважанье, але що зъ того, якъ всѣ хотѣли быть «крулями» да надъ «крулями» каверзували. За те жъ то и згнули, и мусяли сгинуть, бо не тѣмъ занимались, що треба для благоденствія цілаго края, а шарпали ту несчастну свободу усякъ, кто якъ могъ, на свою сторону.

Онъ махалъ рукою и презрительно заключалъ:

— Ледаще, ледаще!

Но Вишневскій не былъ и поборникъ строгаго уваженія къ властямъ, а, напротивъ, какъ выше показано, самъ весьма часто и даже почти при всякомъ случаѣ готовъ былъ унижать и оскорблять органы законной власти. Не былъ онъ и демократомъ, не былъ и народникомъ въ нашемъ нынѣшнемъ понятіи. Напротивъ, самое скромное и, по видимому, безобидное учрежденіе выборной должности городскихъ головъ его смѣшило, и онъ ни за что не хотѣлъ называть ихъ «головами», а называлъ иначе. Словомъ, Виш-

левскій, но короткому, но мѣткому опредѣленію простыхъ людей, былъ «панъ, якъ се належи—якъ жубрь изъ Бѣловѣжи», т. е. онъ былъ «баринъ», какъ слѣдуетъ, все равно, что жубрь изъ Гродненской пунци, который не чета обыкновеннымъ быкамъ, а всѣхъ ихъ отважибе и сильнѣе. И какъ панъ, онъ наблюдалъ свое полное достоинство и знать толкъ въ этомъ дѣлѣ. Не имѣя настоящаго образованія и не читавъ неизвѣстныхъ еще тогда политическихъ разсужденій, написанныхъ позже такими людьми какъ Токвиль, — онъ вѣрно понималъ космополитическія стремленія настоящаго аристократизма, свойственные также и настоящему демократизму, ибо при обоихъ объединяющимъ стимуломъ является принципъ, оттѣсняющій въ сторону симпатіи національности. Вишневецкій недолюбливалъ поляковъ, по чуть рѣчь заходила о какихъ-нибудь именитыхъ людяхъ «московскихъ», — онъ сейчасъ начиналъ строить ироническія гримасы и, улучивъ минуту, когда Стенанида Васильевна не была въ комнатѣ, говорилъ:

— Ну, какая тамъ у нихъ именитость!—у всѣхъ у нихъ дѣды и бабки батогами биты.

Съ этой точки зрѣнія, Вишневецкій превозвышалъ польскую знать и даже ливонскихъ бароновъ; но если бы съ ними у Россіи зашла война, онъ бы не утерпѣлъ и пошелъ бы ихъ «колотить» со всеусердіемъ, ибо хоти онъ втайнѣ завидовалъ чистотѣ ихъ «родовитой крови», но терпѣть не могъ въ нихъ «собачьей брови», т. е. ихъ высокомерія и надменія, которыя ему были противны, такъ какъ онъ считалъ себя простымъ и прямодушнымъ.

Кто могъ бы разобратъ-ся во всемъ этомъ, что было наворочено подъ череномъ у этого испихоната? Но возникалъ случайно передъ нимъ какой-нибудь вопросъ или случай необыкновеннаго свойства, — и вся эта испихонатическая «бусырь» куда-то исчезала и Стенанъ Ивановичъ обнаруживать самую удивительную, тоже, пожалуй, испихонатическую находчивость. Онъ дѣйствовалъ смѣло и разсчитанно въ обстоятельствахъ сложныхъ и опасныхъ и шути выводилъ людей изъ затрудненій и большихъ бѣдъ, которыя угрожали тѣхъ задавить.

Одинъ изъ такихъ случаевъ рассказываютъ объ офицерахъ какого-то драгунскаго полка, квартировавшаго не то

въ Ширятинѣ (полтавской губерніи), не то въ Вѣжецкѣ (тверской губерніи).

Этотъ занимательный случай одни усволяютъ тверской области, а другіе Малороссіи, и что правѣе—судить трудно, да едва ли и стоить ломать надъ этимъ голову. Случай таковъ, что онъ съ одинаковою вѣроятностію могъ произойти въ любомъ городкѣ, но, судя по характерамъ двухъ упоминаемыхъ [здѣсь «паньчѣй», кажется, статочнѣе прилагать это къ нравамъ малороссійскаго подьячества.

Намъ, впрочемъ, дѣло не въ точномъ обозначеніи мѣста, а въ самой картинѣ событія и въ томъ участіи, которое принялъ въ немъ нашъ психопатическій герой.

### ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Въ Ширятинѣ (примемъ за данное, что это было тамъ) стояли драгуны. Части полка были расположены и въ другихъ мѣстностяхъ. Полковой командиръ квартировалъ, можетъ-быть, въ Переяславѣ.

Разумѣется, на столликѣ въ крошечномъ городкѣ офицеры скучали отъ бездѣлья и развлекались, разѣзжая въ гости къ помѣщикамъ. Когда же выдавалось нѣсколько дней домоѣдства, они кутили, играли въ карты и шли въ погребокъ при лавкѣ какого-то мѣстнаго торговца виноградными винами. Торговецъ былъ еврей, любилъ обирать офицеровъ и разгуду ихъ потворствовалъ, но самъ ихъ боялся и, — для того ли, чтобы они хоть мало-мальски вели себя тише при возбужденіи, — онъ повѣсилъ въ томъ помѣщеніи, гдѣ пировали его гости, портретъ лица, которое, по его понятіямъ, могло напоминать посѣтителямъ его заведенія объ уваженіи къ законамъ благочинія. Можетъ-быть, это было умно, но повело къ исторіи.

Какъ-то, въ самую скучную лѣтнюю пору, въ городъ заѣхалъ жонглеръ и, ходя по городу, давалъ, гдѣ его принимали, свои незамысловатыя представленія, изъ коихъ одно пришлось очень по вкусу господамъ офицерамъ: артистъ сажалъ свою дочь на стулъ, плотно подвигая его спинкой къ стѣнѣ, и, доставъ изъ мѣшка нѣсколько книжаловъ, металъ ихъ въ стѣну такъ, что они втыкались, обрамливая голову дѣвушки со всѣхъ сторонъ, но нигдѣ ее не задѣвая.

Такое твердое и ловкое управленіе оружіемъ весьма за-

няло людей, знакомыхъ съ трудностію этихъ смѣлыхъ эволюцій кинжалами, и вотъ офицеры, собравшись однажды тамъ, гдѣ было имъ за обычай пить и закусывать кусочками сыра, наструганнаго наподобіе вывѣтрѣлыхъ остриженныхъ ногтей, стали говорить о метаніяхъ кинжала, и когда сдѣлались уже пьяны, то одному изъ нихъ пришло въ голову, что и онъ можетъ продѣлать то же самое.

Кинжаловъ при нихъ не было, но на столѣ находились вилки, которыя до извѣстной степени при этомъ опытѣ могли замѣнить кинжалы. Если ихъ и не такъ легко было бросать съ прицѣломъ, то все же таки онѣ втыкались въ стѣну.

Остановка была за человѣческимъ лицомъ, [около котораго можно бы натывать вилку. Изъ офицеровъ, разумѣется, ни одинъ не пожелалъ самъ подвергнуть себя такому опыту. Надо было пайти личность низшаго разряда, конечно, самое лучшее жиды, — и разгулявшіеся офицеры отнесли съ предложеніемъ такого рода къ прислуживавшимъ евреямъ, но тѣ, по трусости и жизнелюбію, не только не согласились сидѣть на такомъ сеансѣ, но даже покинули свои посты при торговлѣ и предоставили всю лавку во власть господъ офицеровъ, а сами разбѣжались и скрылись, хотя, конечно, не переставали наблюдать изъ скрытныхъ мѣстъ за тѣмъ, кто что будетъ брать и, вообще, что станетъ далѣе дѣлать шумливая компанія.

На этотъ грѣхъ случай поднесъ сюда двухъ молодыхъ приказныхъ, по мѣстному выраженію—«судовыхъ панычей», которые въ этотъ день, вѣроятно, стянули съ кого-нибудь «добраго хабара» (т. е. хорошую взятку) и пришли угостить себя въ погребокѣ холоднымъ донскимъ виномъ польшаго привкуса.

Офицерамъ тотчасъ же пришла мысль приурочить этихъ панычей для своего опыта, — для чего тѣмъ спачала было предложено вмѣстѣ выпить, а потомъ къ нимъ стали приставать, чтобы который-нибудь изъ нихъ посидѣть на сеансѣ.

Панычи оказались очень страшными людьми, совершенно разнаго права,—одинъ какъ Гераклитъ, а другой какъ Демокритъ. Придя съ жару въ холодный погребокъ, они какъ вышли холоднаго вина, такъ ихъ и развезло, и потому, когда офицеры стали къ нимъ приставать, они вмѣсто того,

чтобы скорѣе уйти, не трогались съ мѣста. Считая себя на равной ногѣ, какъ аборигены, они начали проявлять свой характеръ. Одинъ на дѣлаемый ему предложенія смѣялся и отпускалъ раздражавшія офицеровъ малороссійскія шуточки, а другой раскисъ и сталъ плакать. И хотя его уже никто не трогалъ, но онъ все продолжалъ кричать: «Не чепайте меня! Идите сами до бѣса! дайте мнѣ святого покою!»

Оба эти паньчи такъ надоѣли офицерамъ, что тѣ, наконецъ, ноступили съ ними но-своѣски, — т. е. похлопали ихъ и подѣлили подъ столъ и рѣшили держать тамъ, «какъ поросятъ», до тѣхъ поръ, пока окопчится шпуршка. Это было и удобно, и безопасно, ибо подъ столомъ паньчей офицеры удерживали ногами, имѣя и рты и руки свободными, а между тѣмъ, черезъ обезличеніе личности паньчей устранялся скандалъ, который казался неизбежнымъ при мерзкомъ характерѣ, какой обнаруживали эти неуступчивые молодцы. Одинъ изъ нихъ непремѣнно бы сталъ на площади или на улицѣ визжать на весь городъ, а другой, чего добраго, могъ бы взлѣзть на заборъ или подойти къ окну и тутъ же черезъ окно дразниться.

Тогда пришлось бы за нимъ бѣгать, его доставать и ловить, — все это было бы скандально и непремѣнно бы собрало бы кучу бабъ и жидешить. Словомъ, вышло бы совсѣмъ неприлично офицерскому званію, — между тѣмъ какъ паньчи, подбитые подъ столъ, сидѣли тамъ смиренно и только жалались, обнявшись другъ съ другомъ, на тѣсномъ пространствѣ, гдѣ ихъ тѣснили офицерскія ноги, въ сапогахъ со шпорами.

Все было прекрасно, но въ компанію замѣшался чортъ, и все дѣло испортилось: офицеры до того запьянѣли, что стали метать вилки въ портретъ, рассчитывая, что могутъ окружить его такъ же ловко, какъ жонглеръ окружалъ книжками голову живого человѣка. Но чортъ тутъ и былъ: какъ только первый офицеръ метнулъ вилку, бѣсъ толкнулъ его подъ локоть — и вилка пошла въ самый глазъ портрета. Метнулъ другой офицеръ, а чортъ опять навелъ вилку по тому же направленію въ другой глазъ, и тогда въ оныяѣвней компаніи развилось соревнованіе, — вилки полетѣли одна за другою и совсѣмъ изуродовали лицо портрета.

Въ пьяномъ загулѣ, перешедшемъ уже въ состояніе умственнаго омраченія, офицеры не придали этому событію никакого особеннаго значенія. Попортили картину—больше ничего. Не Богъ вѣсть какого она мастера,—не Рафаэлемъ произведеніе и огромныхъ суммъ стоить не можетъ. Призовутъ завтра жида-хозяина, спросятъ его, сколько картина стоила, хорошенько съ нимъ поторгуются и заплатятъ. — и на томъ квитъ всему дѣлу. Зато какъ было весело, сколько шутили и смѣялись при всякой неудачѣ бросить вилку такъ мѣтко, какъ бросать жонглеръ.

— Пѣть, онъ, шельма, лучше дѣлать. Намъ такъ не сдѣлать. И славу Богу, что никто живой не согласился передъ нами сидѣть, а то бы мы живому глаза новыкололи — тогда и не раздѣлаться.

Очень рады были добрые удалыцы, что такъ хорошо дѣло кончилось одними смѣлками да шутками, и, поддерживая другъ друга, разбрелись по квартирамъ. Уходя, они совсѣмъ даже позабыли про судовыхъ панычей, которые притихли подъ столомъ и не подавали о себѣ ни слуху, ни духу.

А дѣло было совсѣмъ не такъ просто и совсѣмъ неблагоприятно, какъ думали разошедшіеся на отдыхъ добрые ребята.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Такъ только офицеры разошлись и оставленная ими камора при еврейской лавкѣ опустѣла, «судовые панычи» выдѣзали изъ-подъ стола и, расправи окоченѣвшія отъ долгаго согбенія колѣни, оглядѣли вокругъ свою диспозицію... Все было тихо — ни въ каморѣ, ни въ лавкѣ ни дуни, а сквозь густое облако табачнаго дыма со стѣны едва были виденъ изуродованный портретъ съ выколотыми глазами и со множествомъ рваныхъ дырокъ въ другихъ мѣстахъ.

Но счастью для однихъ и по несчастью для другихъ, панычи были много трезвѣе офицеровъ, потому что, когда тѣ довершали свое оцѣпѣніе за столомъ, изъ-за котораго метали въ портретъ вилки, заключенные подъ столомъ Гераклитъ и Демокритъ значительно «прочунѣли»,—чему, можетъ-быть, сильно содѣйствовали и страхъ, и воздержаніе, и жажда мести, которая въ нихъ зажглась, и они придумали прекрасный планъ наказать своихъ обидчиковъ.

Паньчи, недолго размышляя, сняли со стѣны израненный портретъ и, выбѣжавъ съ нимъ вмѣстѣ на крылечко лавки, закричали: «гвалтъ!»

— Люди добрые, сходитеесь... Кто въ Бога віруе и старшихъ поважае, дивитесь... Ось якъ охвицеры такой персоны патреть спонивадыли!

И сейчасъ на этотъ зовъ — ни вѣсть откуда, какъ изъ земли, выросли спрятавшіеся на время дебоша хозяева, приближали съ торга бабы-перекупки, загадѣли жиденята, — и пошла исторія.

Жидъ-хозяинъ, больше всѣхъ струсившій и всѣхъ болѣе недовольный скандаломъ, закрылъ себѣ большими пальцами глаза, какъ закрываетъ ихъ благословляющіи раввинъ, и кричалъ:

— Я ничего небачывъ и теперь не бачу да и не знаю, кто сей войсковій панъ, иде тутъ писанъ... Дай Богъ ему, чтобъ все доброе, а только мени... мени теперь эта картына совсѣмъ не нужна... Я ее жертвую: берите ее себѣ кто хочетъ.

А Демокритъ возглашаетъ:

— Мы то знаемъ... яка се персона и протестуемось... Бачте, добри люди, — очей нема, повиколваны. Несемъ портретъ до городничаго.

И Демокритъ понесъ израненный портретъ по улицѣ къ городническому дому, а Гераклитъ его сопровождалъ и опять раскисъ на тепломъ солнныкѣ и плакалъ, и всѣ, кто за ними слѣдовалъ, указывали на него съ похвалою, говоря:

— Отъ се жъ дивитесь яке чувства масть!

А офицеры себѣ снятъ да снятъ и не чуютъ, что они опротестованы и что дѣло это имъ непременно патворить хлопотъ, съ которыми не знать какъ и развязаться.

Но если грузень былъ ихъ хмельной сонъ, то не легко было и пробужденіе на слѣдующее утро.

Рано всѣхъ собутыльниковъ описанной попойки обѣжали вѣстовой отъ усатаго майора или ротмистра, который командовалъ эскадрономъ и представлялъ своимъ лицомъ высшую полковую власть въ мѣстѣ расположенія.

Конечно, ротмистръ еще не Богъ вѣсть какое высокое начальство, — почти то же, что «свой братъ Исакій», и порою «вмѣстѣ пляшетъ», — однако офицеры струхнули.

Главное лихо въ томъ было, что у нихъ еще головы трепали и они никакъ не могли вспомнить всего, что вчера происходило въ каморѣ при жидовской лавкѣ... Что-то такое помнилось, что было будто крѣпко закручено, да только не все подъ рядъ вспомнить, а что-то обрывается и являются промежутки времени, когда будто даже и самаго времени не было... Помнится, что будто разогнали жидовъ, да вѣдь это совсѣмъ не важно и не разъ это случалось и при самомъ ротмистрѣ. Разогнать никого не бѣда, а особенно жидовъ, потому что это такой народъ, который самими высшими судьбами обреченъ на «разсѣяніе». Жидъ считаетъ лишнее, положить за вынитое то, что и не было нито, и за то поврежденное и разбитое, что совсѣмъ не повреждалось; но они разсчитаются съ нимъ и опять будутъ жить ладно до новой исторіи. Жидъ самъ же имъ поставить первую выставку безъ денегъ «на мировую», а потомъ они захотятся и поддержать коммерцію... Не можетъ быть, чтобы это онъ, жидъ, захотѣлъ съ ними ссориться и быть причиною внезапнаго ранняго призыва ихъ къ старшему офицеру!.. Развѣ что-нибудь приказные... Кажется, будто тамъ были какіе-то два приказные... «судовые паньчи»... Тоже кушанье неважное... мало ли ихъ вездѣ въ то время военные люди трепали!.. Да и чего они больше стоятъ — это крапивное сѣмя, взятчики?.. Развѣ вотъ только не обрубилъ бы которому-нибудь изъ нихъ носъ или уши!.. Вотъ это скверно, — отрубленнаго не приставишь... Но, — Богъ милостивъ, — сходили съ рукъ и не такія дѣла, — сойдеть и это. Да и на что приказному носъ? — развѣ только чтобы табакъ нюхать да обсыпаться имъ казенную бумагу... А хабаръ или взятка не жаркое, онъ ее и такъ, безъ носа почуветь... Разумѣется, придется сложиться и заплатить, но въ складчину это не тяжело будетъ...

## ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Въ такихъ или приблизительно въ подобныхъ ему размышленіяхъ офицеры, мало упывая, потянулись къ квартирѣ своего старшаго товарища и вступили въ его просторную, но низенькую залу, въ мажороссійскомъ домикѣ, смѣло; но тутъ сразу же замѣтили, что дѣло что-то очень неладно. Ротмистръ ихъ не встрѣчаетъ за панибрата — въ

полосатомъ калаусовомъ архалукѣ, съ трубкой въ зубахъ, а двери въ его кабинетъ заперты, — пока, значить, всё соберутся, тогда онъ и выйдетъ и заговорить ко всемъ разомъ...

Эта официальность не обѣщала ничего добраго, и сходящіеся офицеры переглядывались другъ съ другомъ и, понизивъ тонъ до полушопота, спрашивали одинъ у другого:

— Да что это такое?.. Что мы вчера надѣлали?

Одному кому-то на переходѣ по улицѣ удалось что-то услышать про портретъ...

— Портретъ, портретъ... Что такое за портретъ?!

Никто не можетъ вспомнить.

А въ это время дверь вдругъ отворяется и изъ кабинета выходитъ ротмистръ, въ мундирѣ съ эполетами и усы оттопырены, и, не поздоровавшись, начинаетъ рѣчь словами, гораздо позднѣе вложенными Гоголемъ въ уста Сквозника-Дмухановскаго.

— Я пригласилъ васъ, господа, для того, чтобы сообщить вамъ пренепріятное извѣстіе: на васъ подана жалоба по гражданскому начальству, и мнѣ сообщить о ней городничій; я долженъ васъ арестовать. Пожалуйте мнѣ ваши сабли и извольте сейчасъ чистосердечно объясниться: что вы такое вчера надѣлали въ лавкѣ?

Офицеры стали безронотно снимать сабли и подавать ихъ эскадронному, по насчетъ «чистосердечнаго объясненія» отвѣчали, что они и сами рады бы узнать, что такое именно они надѣлали, но не могутъ привести себѣ этого на память.

Ротмистръ еще принасунился и еще суровѣе произнесъ:

— Прошу не шутить! я съ вами говорю по службѣ, какъ старшій!

— Шутокъ и пѣть, — отвѣчаль одинъ изъ обвиняемыхъ: — а ей-Богу мы не помнимъ.

— Припоминайте!

— День былъ жаркій... вошли невзначай... стали пить въ холодкѣ польнное... съ жидами за что-то поспорили... но худого умысла не имѣли... Тамъ даже были два приказные, и тѣ все могли видѣть...

— То-то и есть... два приказные! Въ нихъ-то и дѣло. Эти два приказные, дѣйствительно, могли все видѣть, и они и видѣли, а вотъ вы чѣмъ будете противъ нихъ оправдываться? Срамъ нашему званію!

— Да въ чемъ оправдываться?... Позвольте узнать, — проговорили офицеры.

— А вотъ въ чемъ вамъ надо оправдываться! воскликнулъ ротмистръ и, вынувъ изъ кармана сложенный вчетверо листъ бумаги, сталъ читать обязательно сообщенную ему городничимъ конію съ извѣта судовыхъ нанячей, гдѣ писано, какъ господа офицеры повреждали портретъ метаніемъ вилокъ, несмотря на то, что они, случившіеся на мѣстѣ преступленія судовые нанячи, «имѣя въ сердцахъ своихъ страхъ Божій и любовь ко Всевышнему», во все это время стояли на колѣняхъ и до того даже, что растерзали на тѣхъ мѣстахъ объ полъ имѣвшіеся на шнхъ въ ту пору единственныя шаровары и по той причинѣ теперь лишены возможности ходить на исправленіе обязанностей службы. А потому они противъ всего оказаннаго офицерами безчинства по долгу своему протестуютъ, а за панталонное поврежденіе просятъ взыскать съ виновныхъ, особенно въ пользу каждаго, по двадцати рублей ассигнаціей.

Дочитавъ это ротмистръ и, свистнувъ вѣстовому, велѣлъ подать изъ своей спальни портретъ, на которомъ офицеры воочию могли увидѣть слѣды своего вчерашняго времяпровожденія и остолбенѣли...

А ротмистръ межъ тѣмъ снялъ съ себя мундиръ и, оставшись въ одномъ военномъ галстукѣ, сѣлъ на столъ и, заложивъ руки за вышитыя гарусныя подтяжки, заговорилъ другимъ голосомъ:

— Дѣло, господа, плохое. Это имѣетъ предрипной характеръ, потому что тутъ чортъ знаетъ что такое присеципять... Какаа-то ничтожная приказъ, дрянъ, канцелярскіе съ принсью подьячіе и противъ офицеровъ... Я съ вами обошелся какъ старшій, а теперь говорю какъ товарищъ... Этого такъ предоставитъ своему обыкновенному теченію невозможно, а надо предупредить быстротою и чистосердечною военною откровенностію, какъ прилично благороднымъ людямъ... Поможетъ это или нѣтъ, но надо дѣйствовать откровенно и честно. Прошу садитесь, закуривайте трубки и давайте думать. А мое мнѣніе такое: грѣхъ воровать, да пельзи мновать. Надо тѣмъ пользоваться, что почти въ Переяславъ вчера ушла и теперь опять только черезъ три дня поидетъ. Это ваше счастье. Я отобралъ у васъ сабли, и вы выберите поскорѣе изъ

себя двухъ, и пусть они скачутъ къ полковнику и расскажутъ ему все по совѣсти. Онъ съ губернаторомъ хорошо знакомъ и помочь можетъ.

Лучше этого плана не могли и придумать, и черезъ часъ два офицера уже скакали изъ Пирятина въ Переяславъ, а на дорогѣ у нихъ Фарбованая; съ неба послѣ жары и духоты ударилъ громъ и полилъ ливень, и въ потокахъ воды, какъ пузырь, выскакиваетъ передъ офицерами изъ хлѣбовъ хохоль въ видлогѣ.

— Що за люди съ звономъ и чего треба?

Отвѣчаютъ:

— Мы офицеры, ѣдемъ по своему дѣлу.

— А якъ по своему дѣлу. то вертайте до нашего напа Вишневецаго.

Офицеры было не хотѣли. но хохоль ихъ убѣдилъ, что:

— Се вже такички... такам поведенция.

Заѣхали, чтобы переждать дождикъ и грозу, а Степанъ Ивановичъ встрѣчаетъ ихъ радушно, — сейчасъ напоилъ, накормилъ и спрашиваетъ:

— Что вы, господа, волей-неволей или своєю охотою дальше рветесь іъ такую погоду?

Офицеры отвѣчаютъ по-сказочному, — что ѣдутъ они и волей. и неволей, и своєю охотою.

— А именно?.. Можетъ - быть, я пособить вамъ могу, что и ѣхать не надо будетъ.

Тѣ вздохнули и говорятъ:

— Нѣтъ. у насъ такое трудное дѣло, что развѣ только полковникъ губернатора упросить можетъ.

— Ну, однако — что такое губернаторъ? Я вѣдь не изъ пустого любопытства спрашиваю.

Офицеры рассказали.

Вишневскій поводитъ себя растопыренными пальцами по темени, чихнулъ и говоритъ:

— Это совсѣмъ не губернаторское дѣло, и вамъ въ Переяславъ ѣхать не зачѣмъ. Никто вамъ не поможетъ, если не дать дѣлу правильного оборота.

— А какъ ему дать правильный оборотъ?

— Ну, это миѣ надо еще почихать.

И Степанъ Ивановичъ опять поводитъ себѣ пальцами по темени, чихнулъ и говоритъ:

— Да, вижу я, что всѣ вы хоть москали и надо бы

вамъ насъ учить, а вы дѣло не хорошо поставили и можете его совсѣмъ испортить, если пойдете къ старшимъ. Вы вашею откровенностію себѣ не поможете и начальство затрудните, а вотъ я васъ до завтраго у себя арестовываю и имѣю право арестовать, потому что вы мнѣ сами признались, что сбѣжали, да при васъ и вашихъ сабель нѣтъ. Прошу пожаловать во флигель, — тамъ вамъ готовы всѣ услуги, и спите крѣпко, а завтра утромъ все ваше дѣло приметъ такое правильное направленіе, какъ слѣдуетъ.

### ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Офицеры, поговоривъ, подумали: что же, до утра подождать бѣда не велика, — и подчинились своеобразному хозяину. Они ушли во флигель, а фарбованскій панъ крикнулъ гайдука Прокопа, велѣлъ ему сѣсть въ бричку и скакать въ Прятинъ, гдѣ найти такихъ-то двухъ судовыхъ панычей и во что бы ни стало привезти имъ къ утру въ Фарбованую.

Гайдукъ поскакалъ, разыскалъ панычей и говоритъ:

— Мій панъ Виниевскій нездужае. Такъ ему прикоротило, що ажъ не знаю, чи вінъ до вечера додышитъ. Схлывся, колысь теперечки отказну духовну писати и при-славъ меня до васъ просити, щобъ сейчасъ увзяли съ собою каломаръ и паперу и іхали со мною, въ свідѣтеляхъ подписаться. Вамъ за се добрый хабаръ буде.

Панычи знали, что Виниевскій *никогда не болѣлъ*, а такіе если заболѣть, то къ смерти.

Они подумали: «Вѣрно онъ помретъ, то и мы себѣ что-нибудь въ духовной припишемъ. Онъ больной не расчухаетъ».

Такъ они съ радостію скоро собрались и поѣхали и какъ Стенаць Ивановичъ только проснулся, — они уже у него на крыльцѣ стоятъ.

Стенаць Ивановичъ сдѣлалъ для этихъ гостей маленькую отмѣну въ приѣмномъ этикетѣ. Въ домъ онъ ихъ, разумѣется, тоже не впустилъ, но велѣлъ вынести на свой линостротонъ маленькій столикъ и на двухъ панычей однихъ стулъ, — только съ тѣмъ, чтобы они не смѣли на него садиться.

Ватѣмъ онъ вынесъ къ нимъ въ картузѣ съ большимъ козырькомъ и повелъ политику.

— Васъ, говоритъ, — мой гайдукъ надулъ, будто я помираю. Это еще, хлонци, Богъ дастъ, не скоро будетъ, и я до тѣхъ поръ привезу для своей духовной другихъ свидѣтелей, васъ поисправнѣе. А я привезъ васъ сюда для вашего блага...

Тѣ смотрятъ.

— Что вы тамъ, анаемы, позавчера у жида въ каморѣ надѣлали? А?

Панычи выразили удивленіе.

— Помилуйте... Кто это вамъ наговорилъ?.. Мы ничего, а это офицеры...

— Да, да, — я все знаю. Потому мнѣ васъ и жаль, что вы, дурни, вздумали свою вину на офицеровъ изваливать, какъ будто это вамъ поможетъ... Вы-бъ таки одно то вздумали, что офицеровъ шесть человекъ свидѣлствуютъ, что вы портретъ повредили, а васъ противъ нихъ всего только двое... Кто же вамъ повѣритъ?

— Позвольте... да мы...

— Нечего, нечего пустяки говорить, — перебиваетъ Вишневецкій. — Я все знаю, — мнѣ все извѣстно. Вы тамъ задумали доносъ писать, и когда еще вашъ тотъ доносъ пойдетъ, — а ужъ офицеры поскакали и въ Переяславъ, и въ Полтаву, и въ Кіевъ. Хвала Вож्या, що я ихъ перехвативъ да у себя заринтовавъ... Ихъ шесть человекъ и всѣ видѣли, какъ вы вилки кидали...

— Позвольте... да когда же мы кидали?

— Нечего, нечего! — не даетъ слова Вишневецкій: — васъ двое, а ихъ шесть, и вамъ не выкрутитъ. Пригомъ они васъ знатиѣ... они благородные дворяне, а вы что такое? — яки-сь крученые панычи, підкрапивники...

— Да мы въ правдѣ...

— Цыц! что такое за правда съ москалями! Ихъ шесть, а васъ двое... Кто-жъ вамъ повѣритъ? И развѣ вы не знаете, что у насъ и все большее начальство тоже московское. Да еще и забісовьски жида навѣрно за сильпѣйшаго потянуть — скажутъ, что видѣли, какъ вы кололи.

— Смилуйте, пане, — вѣдь жида-жъ шельмы!

— Да кто-жъ вамъ говоритъ, что они не шельмы, а только они на васъ покажутъ... Вотъ потому-то мнѣ васъ и жаль, что вы въ такую біду попали, ажъ просвіту пѣма.

Подьячье, понимая толкъ въ формахъ судопроизводства, видятъ, что, чортъ возми — дѣло-то вѣдь въ самомъ дѣлѣ плохо и не только нѣтъ никакого преферанса на ихъ сторону, а даже, пожалуй, какъ шить дадутъ — всю вину на нихъ взвалить.

— Ихъ вѣдь шестеро... а насъ двос... А!

— Да... А еще жиды, можетъ-быть...

— Что же дѣлать?

— Что намъ, ваша милость, дѣлать?

— А я вотъ что научу васъ сдѣлать. Садись-ка одинъ изъ васъ и пиши, что я говорить буду.

Началось писаніе, а Степанъ Ивановичъ диктуетъ:

«Бувъ малосмысленны отъ природы и отъ обращенія въ хабарной бѣдности помрачени совѣстью»...

Пишущій приостановился... но Вишневекій его подогналъ:

— Пиши, пиши! Это такъ надо.

«Помрачени совѣстью... мы такой-то и такой судовой кописты, явля въ камору при жидовской лавкѣ, упилися до безумія нашего и, зачавъ за хабара споригтсья, стали другъ въ друга метать вилками, и какъ були весьма пьяны, то понали неосторожностью въ портретъ»...

Пишущій опять остановилъ руку, но Степанъ Ивановичъ пощупалъ его за затылокъ, и тотъ сейчасъ же сталъ продолжать и написалъ до конца цѣлый актъ своего признанія въ невольной винѣ и потомъ въ томъ, что «по опасенію своему они рѣшились было возвести свою вину на офицеровъ, уювая, что тѣмъ, какъ людямъ войсковымъ, ничего не будетъ. Но нынѣ, чувствуя свое согрѣшеніе и помыслия часъ смертный, они въ томъ каются и просятъ у офицеровъ прощенія и *недонесенія*. А за провинность свою, въ пьяномъ видѣ сдѣланную, сами упросили пана Вишневекаго родительски наказать ихъ у него въ селѣ фарбованой по возможности розгами, послѣ чего Вишневекій будетъ, въ случаѣ надобности, просить, чтобы дѣло не начиналось».

— Да за що жъ... ваша милость, за що жъ насъ же и битвмутъ?

— Это только такъ пишется!

Они подписались, и Вишневекій подписалъ, и позвалъ офицеровъ.

— И вы, говоритъ,—господа, подпишите, что согласны ихъ простить отъ своего общества и ужъ, пожалуйста, повоенному — будьте великодушны, ни до кого этого дѣла... не доводите. Я вѣдь межъ васъ поруюю.

И тѣ подписали.

— Вотъ такъ чисто,—сказалъ Степанъ Ивановичъ, кладя въ карманъ бумагу, — а теперь,—добавилъ онъ, обращаясь къ людямъ,—сведите этихъ панычей на конюшню и велите ихъ тамъ добре выпоротъ.

— Помилуйте, — что такое...

— А то що такое? — это же такъ... якъ писано есть! Що жъ вы уже писанію хотите противиться! Эге! добры панычи. Выпорите ихъ, хлопцы!

И выпороли.

Этихъ панычей послѣ, говорятъ, будто долго спрашивали:

— Що якъ имъ трапилось: якъ вони въ Фарбованой фарбовались?

А къ Степану Ивановичу въ Фарбованую приѣзжалъ командиръ и хоть словами не говорилъ, но всеѣмъ выражалъ ему свою признательность за такое находчивое и «правильное направленіе дѣла».

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Самъ въ собственныхъ своихъ дѣлахъ Степанъ Ивановичъ былъ предусмотрителенъ и поддавался ошибочнымъ увлеченіямъ только тогда, когда его отуманивала любовная страсть. И высшее въ этомъ родѣ безумство овладѣло имъ по одному случаю, бывшему именно съ тою тонкой и стройной Гапкой Петруненко, у ногъ которой мы его оставили на коврѣ.

Во время любви Вишневекаго къ этой дѣвушкѣ, въ церкви села Фарбованой былъ священникъ, котораго называютъ Платомъ. Онъ имѣлъ будто довольно общую русскимъ людямъ слабость, что трезвый «на все добре молчалъ», а выпивши — любилъ говорить и даже «правду-матку ризать».

На другой день, послѣ того, какъ Вишневскій всталъ съ ковра, онъ радостно объявилъ утромъ Степанидѣ Васильевнѣ важную новость.

Гапка ощутила въ себѣ біеніе новой жизни.

— И то, что отъ нея родится, ужъ не будетъ моимъ крѣпакомъ, а будетъ вольнымъ,—сказалъ Вишневскій.

Степанида Васильевна встала и поцѣловала мужа въ голову.

Это былъ рѣдкій даръ любви со стороны Степана Ивановича, потому что все великое множество его дѣтей были писаны за нимъ «душами» и благополучно исправляли паншину на его поляхъ.

И Гапочка была веселенькая.

А черезъ часъ она пошла себѣ рвать малину, и тогда къ садовой оградѣ подошелъ въ правдивомъ настроеніи отецъ Платонъ. Онъ увидать дѣвушку и заговорилъ съ нею пастырскимъ тономъ:

— Що, дивчинка — весела?.. Веселись, веселись, — ишь малынку сладеньку... а якъ родышь дыгынку маленьку, такъ тоди тобѣ буде по потылицѣ...

— Зачѣмъ такъ? — оглянулась на него въ бокъ Гапка, вдругъ внезапно сконфуженная и огорченная... потому что, — какъ это ни странно, — Вишневскаго любили многія женщины, дѣлавшіяся сначала его любовницами противъ своей воли. И Гапка чувствовала то же самое и спросила: зачѣмъ ей непременно надлежитъ быть прогнанной, какъ только она родитъ дытыну.

— А затѣмъ, — отвѣчалъ батюшка: — що на панскомъ дворѣ не держать коровку по второму теленку.

Только всей и причины было со стороны отца Платона, а Гапочка была впечатлительна, особенно въ новомъ, чуткомъ состояніи своего организма, и стала горько плакать; но, какъ скрытная малороссіянка, она ни за что не хотѣла сказать о чемъ плачетъ. Степанъ Ивановичъ самъ о всемъ довѣдался: люди видѣли, какъ священникъ говорить съ Гапкою, и донесли нану, а тотъ сейчасъ потребовалъ своего духовнаго отца къ себѣ на исповѣдь и говорить ему:

— Что такое ты наказывалъ Гапци?

Священникъ не могъ рѣшиться сказать, что онъ говорилъ дѣвушкѣ, и говорить:

— Не помню.

Вишневскій взбѣлся и заоралъ:

— Ага!.. я теперь тебя знаю: это ты самъ до нея матавсья... Ты думалъ, що вона мене на тебя зміняє?

— Что вы, что вы, ваша милость...

— Нечего «моя милость». Моя милость только тѣмъ тебя помилуетъ, что, какъ духовный сынъ твой, я бить тебя не велю. а пускай тебя уберутъ, якъ слѣдъ, и проведутъ ис селу. щобъ бачили, якій ты наскудникъ...

Несчастнаго взяли, раздѣли, всунули его въ рогожный куль, изъ котораго была выставлена въ прорѣзь одна голова. и въ волосы ему насыпали пуху и въ такомъ видѣ провели по всему селу.

Священникъ ѣздилъ, жаловался, просилъ перевода и получилъ его, безъ всякихъ, впрочемъ, неудобныхъ для Степана Ивановича послѣдствій.

Отмщеніе ему воздалъ самъ обиженный священникъ, но отмщеніе смѣшное и очень позднее. Оно открылось черезъ много лѣтъ, когда Степанъ Ивановичъ задумалъ выдавать замужъ одну изъ своихъ дочерей. Тогда потребовалась выпись изъ метрическихъ книгъ, и тамъ неожиданно нашли глупую и совершенно безмысленную запись по подчпщенному, что такого-то Степана Ивановича и законной жены его родилась *незаконная* дочь такая-то...

Это было безмысленно и серьезнаго вреда Степану Ивановичу причинить не могло. но это его ужасно сконфузило. Какъ, съ нимъ и осмѣлились отшутить такую шутку!.. И кто же? — попъ! И притомъ — онъ останется неотомщеннымъ... потому что отецъ Платонъ раньше этого волек Божію умерь.

Иначе, разумѣется, Степанъ Ивановичъ нашелъ бы его и въ чужомъ приходѣ...

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Таковы были дикіе поступки этого оригинала, которые теперь, въ наше порицаемое время, были бы невозможны, или ихъ навѣрное нынче зачли бы за психопатію. Но у Вишневскаго отдавали психопатизмомъ и самые его вкусы и ощущенія. Онъ, наиримѣръ, не чувствовалъ красотъ природы, но любилъ только ночь и грозовые эффекты, а въ мірѣ животныхъ любилъ только голубя и лошадей. Голуби ему нравились потому, что они «цѣлуются», а лошади потому, что въ нихъ есть удаля, быстрота и голосъ... Да, да, да,— ему чрезвычайно нравился лошадиный голосъ. т. е. ржаніе.

Для доставленія себѣ удовольствія въ первомъ родѣ.

Степанъ Ивановичъ содержалъ передъ своими окнами большую голубятню и часто по цѣлымъ часамъ любовался, «якъ вони цілуются». И Степаниду Васильевну призывалъ къ этому зрѣлищу.

— Смотри,—цѣлуются.

И смотрятъ, бывало, оба—долго-долго и навѣрно съ хорошими мыслями.

Для конскаго ржанья Степанъ Ивановичъ всегда ѣздилъ на жеребцахъ, и оставался совершенно равнодушнень къ тому, если они производили безпорядокъ въ какомъ-нибудь сѣздѣ экинажей. Но и этого ему мало было: гдѣ бы онъ ни слышалъ конское ржаніе—на ѣздѣ ли это или изъ дома, онъ сейчасъ же останавливался, поднималъ передъ собою палецъ и замиралъ... Навѣрно ни одинъ меломанъ не слушалъ такъ страстно ни Кальцоляри, ни Тамберлика, ни Патти.

Любимѣйшее зрѣлище Вишневаго было хорошиій конскій таунъ, гдѣ гуляетъ мощный и красивый жеребецъ. Даже издали слышавъ его ржаніе, Степанъ Ивановичъ останавливался, и лицо его принимало выраженіе полного удовольствія... Казалось, глаза его, не стѣняясь пространствомъ, видѣли, какъ конь, напрягну хребетъ и втягивая и ноздрями и оскаломъ воздухъ, несется и пышетъ страстью...

— Слышишь. Степанида Васильевна?

— Да, мой другъ, слышу.

И счастливая веѣмъ на свѣтъ, что только доставляло удовольствіе ея мужу, она и здѣсь выражала счастье... И Степанъ Ивановичъ это цѣнилъ.

Ему было шестьдесятъ лѣтъ, когда Степанида Васильевна скончалась и онъ ее оплакалъ горячими слезами, а потомъ, несмотря на свой преклонный уже возрастъ, довольно скоро вступилъ во второй бракъ съ восемнадцатилѣтнею красивою малороссійскою дѣвушкою по фамилиі Гордіенко. И снова съ этою своею супругою тоже былъ счастливъ. но... Степаниду Васильевну помнилъ... Второй его молодой супругѣ, при многихъ ея достоинствахъ, недоставало той, такъ сказать, *вхожести* во всѣ его слабости и маніи... Ей Степанъ Ивановичъ не указывалъ на цѣлующихся голубковъ и не хотѣлъ ее спрашивать, слышитъ ли она, какъ звенитъ и разрывается трельями, а потомъ сходитъ на октаву источнымъ голосомъ занимающійся султанъ табуна...

Вишневскій попробоваль-было обратить на это вниманіе своей новой жены. но она оказалась безчувственна,—она даже не встала и не улыбнулась, а только холодно проговорила:

— Да, слышу, это гдѣ-то лошадь заржала! — и затѣмъ опять спокойно принялась за свою работу...

Не такъ должна была относиться къ такимъ страстнымъ вещамъ женщина съ живою фантазією!..

Степанъ Ивановичъ понялъ, что его новой женѣ недостаётъ того, что имѣла прежняя, и не втягивалъ ее болѣе въ цѣль понятій, которыя были ей недоступны.

Въ минуты душевнаго подъема онъ только вздыхалъ и искалъ глазами портрета Степаниды Васильевны и ей улыбался...

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Со второю своею супругою Вишневскій прожилъ еще около двадцати лѣтъ, наслаждаясь никогда не измѣнявшимся ему здоровьемъ, и скончался, начавъ девятый десятокъ. Всѣхъ лѣтъ жизни его было восемьдесятъ два года. Немоощей старости или медленнаго, но постоянного умиранія, онъ тоже не испытывалъ, а когда пришелъ къ нему его часъ, онъ сразу отпалъ, какъ отпадаетъ отъ стебля мягко созрѣвшая малина.

Утромъ, въ одинъ изъ дней своего восемьдесятъ третьяго года,—весною, когда въ Малороссіи цвѣтеть роскошно спирень, Степанъ Ивановичъ объѣзжалъ никому не подававшуюся ногайскую кобылицу.

При участіи своей необычайной силы и при необычайной своей тяжести, онъ уходилъ до изнеможенія дикую кобылицу и, сойдя съ сѣдла, отдавалъ ей поводья конюхамъ, а самъ взошелъ на балконъ и вдругъ остановился...

Вишневскому показалось, что у него какъ будто «отряслось сердце»... Скакалъ - скакалъ, трясся - трясся—и оно отряслось... Такъ совсѣмъ безъ боли, безъ поврежденія какъ будто упала дозрѣвшая ягода... Мѣсто его стало пусто... и все вдругъ стало сдвигаться, какъ часовыя гири, у которыхъ бечева сошла съ колеса.

Вишневскій сѣлъ скорѣй въ кресло и хотѣлъ что-то сказать, но языкъ его завялъ въ устахъ... Все такъ хорошо, кругомъ цвѣтъ и благоуханіе... Онъ все видитъ, слышитъ и понимаетъ... Вотъ конюхи, облегчивъ подпругу, «разво-

дять» подъ тѣнью стѣны потную кобылицу... Она отдыхаетъ, встряхнулась и легкія частицы покрывавшей ее бѣлой пѣны пронесли въ воздухѣ. За стѣною конюшни раздася ударъ о помость двухъ крѣпкихъ переднихъ копытъ и разлилось могучее и звонкое съ фэготнымъ трескомъ: п-го-го-го!..

Степанъ Ивановичъ повелъ глазами направо и налѣво... Онъ искалъ портрета Степаниды Васильевны, но остановилъ ихъ на кустѣ цвѣтущей сирени и улыбнулся...

Надо думать, что онъ увидалъ тамъ самую Степаниду Васильевну съ ея продолговатымъ обличьемъ типа Шубинскихъ, и... уиалъ со стула къ ея ногамъ—мертвый. Въ жизни иной они оба другъ друга, вѣроятно, узнали.

# Оглавленіе

ХІХ ТОМА.

	СТР.
<b>Святочные рассказы: (Продолженіе).</b>	
Старый геній . . . . .	3
Путешествіе съ нигилистомъ . . . . .	12
Маленькая ошибка. Секретъ одной московской фамиліи . . . . .	20
Пугало . . . . .	28
Фигура . . . . .	79
<b>Рассказы кстати:</b>	
Совмѣстители . . . . .	105
Старинные психопаты . . . . .	138